

И горы смотрят сверху

Автор:

Майя Гельфанд

И горы смотрят сверху

Майя Гельфанд

Счастье рядом

Ева несчастлива – неидеальная и скорее некрасивая по современным меркам, она живет в крохотной квартирке с деспотичной мамой, переживает предательство любимого и не может найти работу.

Согласившись присматривать за сварливой старухой, девушка открывает для себя новый мир, учится наслаждаться простейшими вещами вроде правильно заваренного чая или неспешной прогулки, а главное – любви и принятию себя.

Старуха рассказывает ей длинную, причудливую историю из прошлого о любви и мудрости, позволяющих подняться после любых, самых тяжелых, испытаний.

Майя Гельфанд

И горы смотрят сверху

© Гельфанд М., 2021

© ООО «Издательство «АСТ», 2021

* * *

Глава первая

– Вам надоели безобразные складки на лице? Вы устали от этих ужасных морщин? Вы хотите выглядеть на двадцать лет моложе?

– Да!!!

– Тогда у меня есть для вас революционное решение. Только наш «Антивозрастин» решит вашу проблему.

– Я не верю!

– Продемонстрируем это на нашей пациентке. Клара, 68 лет, не замужем, несколько десятилетий страдает от морщин. Думаете, ей нельзя помочь?

– Совершенно невозможно!

– Вы ошибаетесь! С помощью «Антивозрастина» наша Клара изменится на глазах. «Антивозрастин» сделан на основе крысиного яда и отлично справляется с возрастными изменениями кожи. Нанесем совсем немного «Антивозрастина» на лицо Клары и будем ждать результатов. Всего лишь через 56 минут вы увидите результат.

– Это невероятно! Клара молодеет на глазах! Где гусиные лапки? Где сморщенное печеное яблоко? Все исчезло! Клара теперь выйдет замуж!

– Да-да! Наш «Антивозрастин» творит чудеса. Но это еще не все! Закажите «Антивозрастин» уже сейчас – и вы получите еще два средства в подарок: «Антиобжирин» и «Супермозгиотшибин». И все абсолютно экологически чисто! Спешите оформить покупку, иначе будет поздно!..

«Да, в моем положении только мозгиотшибин может помочь!» – с тоской подумала я, выключая телевизор.

Мне срочно нужна работа! Не то чтобы эта мысль стала обескураживающей новостью, поиском работы я занимаюсь уже давно. Месяца два точно. Но в то утро проснулась, ясно понимая: если сегодня ничего не найду, то завтра помру голодной смертью.

В мои двадцать шесть пора бы уже знать, что работа нужна не для удовольствия или развития творческого потенциала, а для того, чтобы просто жить. Правда, до сих пор как-то удавалось находить подработки, скромно удовлетворяющие мои творческие амбиции и явно завышенное самомнение. Я была наборщицей титров, кассиршей, продавщицей готовых салатов... Но каждый раз моя трудовая деятельность заканчивалась сокрушительным и разгромным провалом – то я путала салаты, и вместо оливье с мясом запихивала в банку какую-то гадостную массу из майонеза и селедки; то принимала чеки, которые потом оказывались фальшивыми. А однажды стала объектом сексуальных вожделений рыхлого, потного хозяина киоска, в котором подрабатывала по ночам, продавая сигареты, выпивку и легкие наркотики. Короче, увольняли меня постоянно, и раз за разом я обнаруживала себя сидящей в длинной и унылой очереди в бюро по трудоустройству.

Сегодня, проснувшись с мыслью о том, что мне срочно нужна работа, я опять отправилась в знакомое бюро. На дешевых неудобных стульях с сиденьями из искусственной кожи и железными спинками, сидели такие же бедолаги, как и я. Одеты они были бедно, вели себя нагло, а лица их не выражали ничего, кроме тупой обреченности.

Когда я вошла в кабинет, меня встретила угрюмая крашенная блондинка невероятных объемов. Даже взглядом не одарила! Она щелкала длинными розовыми ногтями по клавиатуре, не поднимая глаз. Я долго стояла, съездившись, на пороге ее крошечной комнатки, но наконец вошла без приглашения и уселась на стул. На самый краешек, естественно. Блондинка подняла на меня суровый взгляд, в котором читались равнодушие и усталость.

– Мне нужна работа, – сказала я.

– Заполняйте анкету, – вяло ответила она.

Я села и в очередной раз уныло принялась писать. Хвастаться особенно нечем – образования, кроме школьного, у меня не было, особых талантов тоже. Ни яркой

внешности, ни физической выносливости, ни сильного характера, ни, на худой конец, мощных покровителей... В общем – ничего такого, благодаря чему я могла бы рассчитывать на достойную работу и приличную зарплату.

- Есть работа на телефоне.

- Чего?

- Ну, работать телефонной девочкой.

- Это звонить людям и предлагать всякую фигню?

- Ну, типа того.

- Это все, что вы можете мне предложить?

- Пока да.

- Давайте, – вздохнула я.

Выглядело это примерно так:

- Здравствуйте! – бодро набрасывалась я на жертву. – Вы делаете страховые отчисления?

- Ну, делаю.

- Тогда у меня для вас прекрасная новость, не вешайте трубочку!

Если мне везло и трубочку не вешали сразу, я продолжала:

- У меня для вас прекрасная новость! Согласно новой поправке к закону о страховании вам полагается страховка по потере трудоспособности!

- Отличная новость.

Тут главное было успеть произнести свой текст максимально быстро, пока клиент готов слушать:

- Ага. В случае полной потери трудоспособности, то есть стопроцентной инвалидности, вам полагается ежемесячная выплата в размере четырех тысяч шекелей. И время ожидания первой выплаты - всего четырнадцать дней, а не три месяца, как раньше!

- Звучит оптимистично.

- Ага. Но и это еще не все! В случае производственной травмы вам полагается сделать анализы в течение семидесяти двух часов, а не трех суток, как раньше.

- Это, видимо, пункт для идиотов.

Теперь, когда разговор завязался, важно было держать клиента на крючке как можно дольше.

- Ага. Но и это еще не все! У вас кто-нибудь раком болеет?

- Вроде нет.

- А вы?

- Тоже вроде.

- Ну, ничего. - Я подпустила в голос капельку сочувствия. - Если вы заболете раком, то вам полагается - и это только в нашей страховой компании, учтите, - вам полагается бесплатный волонтер, который будет сопровождать вас на всех процедурах и даже заполнять за вас документы!

- Очень заманчивое предложение.

- Ага. Но и это еще далеко не все! В случае смерти все расходы по транспортировке трупа мы берем на себя!

- Супер! И сколько стоит это удовольствие?

Ага! Вот момент моего триумфа! Главное, чтобы не соскочил.

- Всего семьдесят девять шекелей в месяц! Только сейчас и только два дня! По самой привлекательной цене! - ору я совершенно ошалевшим от счастья голосом. Мало кто дослушивал мой текст до этого момента. - Ну, что?

- Ничего.

- Берем?

- Ни в коем случае.

- Почему? - Тут я понимаю, что меня ожидает очередной облом.

- Меня один пункт смущает.

- Какой же?

- Вот про транспортировку трупа.

- И что же вас смущает?

- Вы чей труп будете транспортировать?

Такого поворота сюжета я не ожидала.

- Ваш, наверное, - неуверенно говорю я.

- Вот это мне и не нравится.

- А что вас не устраивает?

- Да за такие деньги я еще поживу!

Через четыре дня я опять сидела напротив блондинки с длинными ногтями. Она, как и в прошлый раз, встретила меня невидящим взглядом.

- Заполняйте анкету.

- Уже заполняла три раза.

- И что?

- И ничего. Не могу я на телефоне работать.

- Почему?

- Стыдно.

Блондинка хмыкнула и впервые взглянула на меня с интересом. В ее глазах я прочитала что-то, напоминающее удивление.

- Пока ничего нет, - сказала она после долгого раздумья. - Может, ты еще что-нибудь умеешь?

Я погрузилась в размышления.

- Вспомнила! - вдруг меня осенило. - Я в армии фельдшером служила. Может, это как-то поможет?

- Вряд ли, - охладила мой пыл блондинка, - но надежда есть.

Я вышла из бюро в самом угрюмом настроении. Денег не было, работы тоже, да и перспектив не просматривалось. Я села на лавочку в парке и развернула бутерброд с колбасой, который взяла из дома. Есть не хотелось. Хотелось плакать.

Скверик, где я оплакивала свою незадачливую жизнь, зажатый огромными многоэтажными офисными зданиями, находился в центре города. День выдался нежаркий, что редко бывает. Дул несильный, но ощутимый ветерок. Листья на деревьях колыхались ему в такт, голуби деловито хлопали крыльями, курлыкали, догоняли и клевали друг друга. Желторотые скворцы, скрытые между акаций и баухиний[1 - Баухиния – цветущее дерево семейства цезальпиниевых.], щебетали на разные голоса, заливались трелями и свистом, изредка высовывали свои черные головки и исполняли бесплатные сольные концерты для всех желающих. Солнце светило деликатно, как будто чуть застенчиво выглядывая из-за широких ветвей сикоморы, просачивалось сквозь яркие желтые мимозы, играло на огненных цветах красной акации.

Прилетела колибри с синей головкой. Она воткнула длинный клюв в цветок бугенвиллии и зависла на несколько долгих секунд. Я смотрела на ее крохотное тельце, блестящую головку, трепещущие крылышки с завистью и тоской – ведь это красочное и разнообразное буйство жизни не имело ко мне совершенно никакого отношения. Я чувствовала себя подавленной и несчастной. Моя жизнь была абсолютно бессмысленна и пуста.

У заливающегося в песне дрозда, у ползущей по земле улитки, у цветущего куста жимолости было какое-то тайное предназначение. У меня же не было никакого.

Настало время обеда. Офисные работники начали потихоньку, тонкой струйкой, вытекать из огромных сверкающих зданий. Высокие женщины на тонких каблуках, с развевающимися по ветру волосами, придерживая дорогие сумки, засеменили в соседние ресторанчики.

Я взглянула на свой бутерброд с дешевой колбасой и проводила их завистливым взглядом. Они принадлежали этому миру – блестящему, богатому, успешному... Они то и дело отвечали на звонки, в то время как мой телефон молчал по несколько дней. Они решали сложные и глобальные вопросы, в то время как я думала, как бы мне убить оставшееся время с минимальными потерями. Они ворочали огромными суммами, управляли вкладами, отслеживали тенденции на

рынках, в то время как я с тоской размышляла, где бы мне разжиться парой сотен, чтобы хоть как-то дотянуть до конца месяца. Они были частью этого большого механизма, а я не подходила даже на роль мельчайшего винтика. Они продавали за большие деньги свои знания, умения и потенциал роста. Мне же продавать было нечего, кроме тела сомнительной привлекательности.

Вдруг зазвонил телефон. У меня? Я вздрогнула от неожиданности. Кому могло прийти в голову искать меня?

- Работа есть, - я сразу узнала хриплый голос блондинки из бюро по трудоустройству и впервые обрадовалась, услышав ее. - Но тяжелая. Не потянешь.

- Потяну! - пообещала я. Неужели? Что она предложит на этот раз? Модель? Нет, для модели я тяжеловата. Телеведущая? Нет, кажется, картавлю.

- Сиделка, - сказала блондинка. Я тут же представила ее длинные ногти, которые равнодушно барабанят по клавишам, пока она беседует со мной по телефону. - Женщина, старая. Плохо слышит. Плохо ходит. Ищет сиделку. Три уже отказались. Пойдешь?

- Пойду, - ответила я и тоскливо вздохнула.

Глава вторая

На следующий день я отправилась на работу. Дверь мне открыл высокий мужчина средних лет, лысый, худощавый, с несколько брезгливым выражением лица.

- Вы из агентства? - спросил он, окинув меня оценивающим взглядом.

- Да, - ответила я на иврите.

- По-русски говорите?

- Да, - ответила я.

- Это хорошо.

Мужчина буравил меня взглядом маленьких, умных глаз.

- Я должен вас предупредить, - сказал он хриплым, грубым голосом, - мама - человек тяжелый. С ней сложно ужиться. А вам придется видеться каждый день, по много часов... Вы понимаете?

- Понимаю.

Он продолжал изучать меня. Невысокая, коренастая, я никогда не блистала красотой, и если раньше спасало очарование юности, то теперь и оно стало меня покидать.

- Не думаю, что вы понимаете, - сказал мужчина.

Я съежилась под его тяжелым, пытливым, недовольным взглядом.

- Мне нужна работа.

Он промолчал.

- Присядь здесь, - указал он на стул возле круглого столика, покрытого клеенкой.

Я осмотрелась. Это была маленькая квартирка, опрятная, но несколько запущенная. Стены и потолки давно не белены, а в углах заметны следы плесени. Окна чистые, но рамы в некоторых местах расколоты. На полу кое-где виднелись трещины, на стенах - подтеки. В единственной вазе, стоявшей на небольшом полированном столе, - давно засохшие цветы. На выцветшем, то ли розовом, то ли фиолетовом, диване - пыльные подушки.

- Это она? - слышался старческий голос.

- Мама, ты только не волнуйся.

Я встала. Из темной глубины коридора медленно выползала старуха. Опираясь на ходунки, она с трудом двигалась по направлению ко мне. В комнате было жарко, но кондиционер не включали. Старуха, одетая в легкий халат и теплые тапки, согнувшись над ходунками, еле-еле передвигала ногами, при этом не забывая недобро поглядывать на меня.

Наконец она доплелась до стола и плюхнулась на стул, где я только что сидела.

- Ну? - она вопросительно посмотрела на меня.

- Здравствуйте! - Я пыталась говорить, как можно вежливей. - Я Ева.

- А мне какая разница? - Старуха сразу же поставила меня на место.

Удивительно - несмотря на дряхлость и немощность, глаза у нее были живые и умные. Темные, глубоко посаженные, с сохранившимися ресницами, они смотрели внимательно, словно заглядывая в самое сердце.

- Что умеешь делать?

- Вообще-то, в мои обязанности входит ухаживать за вами. - Я попыталась встать в защитную позицию.

Она только усмехнулась:

- Гулять я не буду. Не в детском садике.

- Хорошо.

- Готовить мне не надо, я твою отраву есть не буду.

- Хорошо.

- Читать мне не надо, сама грамотная.

- Понятно.

- Телевизор я не смотрю, там сплошная дрянь.

- Ясно.

- Что тебе ясно? Что ты тут делать собираешься?

Я была совершенно обескуражена. Делать мне действительно было нечего, разве только окна мыть...

- Окна мыть.

Старуха взглянула на меня вновь.

- Окна, говоришь? Ну, бери тряпку и мой.

Все это время мужчина, видимо, приходившийся старухе сыном, недоверчиво и придирчиво глядел на меня.

- Где ведро? Вода?

- Я сейчас покажу, - сказал он и повел меня к чулану. Спиной я чувствовала на себе старухин взгляд.

- Да, у мамы характер сложный, - сказал он, как будто оправдываясь. - Но ты привыкнешь... Наверное.

- Я - Ева, - решила я представиться.

- Я - Роман.

- Ну, что ты там копошишься? - услышался недовольный старухин голос.

- Иду, иду! - ответила я.

Я вернулась в комнату, где она сидела, с ведром и тряпкой.

- А у вас тут средство для чистки окон есть?

- Чего это? - Старуха злобно взглянула на меня.

- Ну, чтобы окна мыть. А то как тряпкой-то... - Я растерянно взглянула на тряпку.

- Вот, газету бери, - предложила она. - Газета - самый лучший способ. Мы так раньше всегда делали.

- Мама, раньше газетой и кое-что другое делали! - попытался вступить в разговор Роман.

- Ну и что, что жопы подтирали! Зато больных не было, все здоровые. Это вы теперь гнилые. То у вас аллергия, то пневмония, то родильная горячка!

- Нет, это невыносимо, - вздохнул Роман. - У тебя есть нормальные чистящие средства?

- Нету ничего, - огрызнулась старуха и обиженно отвернулась.

- Ладно, я сейчас сбегаю в магазин, - сказал он, обращаясь ко мне, и вышел из дома.

В тот день я перемыла все окна, надраила полы и вытерла пыль. Таким образом я убила три часа, отведенные мне по расписанию.

По окончании первого рабочего дня я, толком еще не понимая, куда попала, вернулась домой. Мы жили с мамой в крошечной квартирке в районе городских трущоб. В нашем распоряжении были две маленькие комнатки, которые мы поделили не совсем честно: в одной был «зал», а также столовая, гостиная и моя комната, а другая полностью и безраздельно принадлежала матери. Кухней нам служил маленький закуток со столешницей, покрытой мрамором, на которой стояли электрическая плитка, чайник и тостер. Рядом примостились крохотный

холодильник с двумя полками и совсем маленький столик, за которым с трудом умещались двое взрослых людей. В метре от кухни находились туалет, душевая кабина и стиральная машина. Большим преимуществом нашей квартиры перед другими был крошечный балкон, на котором в хорошие вечера можно было сидеть и смотреть на звезды, чего мы, по правде говоря, никогда не делали. Еще на балконе я развела палисадник и каждый раз рисковала жизнью, осторожно ступая по наполовину сгнившим деревянным половицам, чтобы полить растения. А недавно в нашем доме был праздник: мы купили кондиционер! Правда, платить за него придется ближайшие два года, да и электричество резко подскочило в цене, но зато теперь мы не изнываем от духоты и не обливаемся потом в любое время суток, даже ночью.

Дом, в котором мы жили, был зажат между другими зданиями, так что свежий воздух здесь никогда не задерживался, а если и заглядывал ненадолго, то тут же, словно в ужасе, спешил покинуть наше тесное помещение. Но если с воздухом была напряженка, то с криками, воплями и всевозможными шумами – полный порядок! Звуки, свидетельствующие о человеческой и прочей жизнедеятельности, не смолкали ни на секунду. Сливной бачок, спущенный в соседской уборной, грохотал созвучно мерному стуку стиральной машинки за другой стенкой; лай потревоженной собаки, охранявшей ешиву[2 - Ешива – религиозная школа для мальчиков.] для мальчиков, очень удачно расположенную под окнами нашей, с позволения сказать, квартиры, звучал в унисон с криком петуха, которого завели на незаконно оттяпанном участке общего двора особенно наглые соседи. Рев автомобилей, визг детей, стоны чьей-то страсти, неизвестно откуда взявшаяся музыка, сообщения по радио, которые передаются традиционно тревожным и вселяющим пессимизм голосом, ругань соседок, вопли мамаш, пьяные песни – этот концерт сопровождал наше скудное на события, но наполненное эмоциями существование.

Выцветший паркет, дырявые трубы, стены, покрытые упрямой, неотстающей плесенью, дешевые, подогнанные вручную шторы, прогнивший пол на балконе, старые, потрескавшиеся рамы на окнах – все это составляло декорации, в которых мы ежедневно проживали свою жизнь.

А запахи! О, эти запахи, которые влезают в горло, проникают под кожу, впитываются в клетки! Тушеная капуста и жареный лук, мясные котлеты и вареные овощи, гниющий мусор и собачьи экскременты... Ароматы эти перемешивались и создавали непередаваемый букет, который въедался в одежду, оседал на волосах и всасывался в мозги.

Но все-таки я любила наш дом и пыталась создать в нем, насколько это было возможно, некое подобие уюта. На стенах с замытыми пятнами повесила картины, на полках, которых было немного, расставила безделушки и ароматические свечи. Мне казалось, что эти ухищрения могли помочь скрыть неприглядность нашего существования, но в те моменты, когда я не врала себе, понимала, что уловки не работают: квартира наша жалка и убога, обстановка – бедна и нелепа, да и жизнь – бессмысленна и несчастна.

Мама встретила меня, как всегда, в халате и с сигаретой в зубах. У нее была такое обыкновение: в любое время года, вернувшись домой, переодеваться в старый халат и закуривать. По всей видимости, сегодня она не планировала изменять своей привычке.

– Ну как? – спросила она, выпуская дым изо рта.

– Устала очень, – ответила я нехотя. Мне действительно не хотелось ни с кем говорить. Несколько часов, проведенных наедине со старухой, лишили меня сил. – Сигарету дай.

Мама выдала мне сигарету, и мы вместе затянулись дымом.

– Понятно, – сказала мама, которой всегда все было понятно. – Долго ты там не протянешь.

– Нет, почему же... – уныло проямлила я. – Это же только первый день.

– Посмотрим, – усмехнулась мама и снова затянулась сигаретой.

Глава третья

Наутро я снова отправилась на работу. В тот день перемыла все стены, двери, две ваннные комнаты и убила все отведенное мне рабочее время.

На третий день я перестирала белье, полила все кактусы (почему-то у старухи росли только кактусы), пропылесосила диван и два ковра.

Все это время старуха со мной не разговаривала, лишь изредка давала короткие, отрывистые указания:

– Здесь пятно. Иди почисти.

И я молча исполняла ее приказ.

– Тут плохо, пыль осталась. Иди вытри.

И я вновь без единого слова выполняла требование своей подопечной.

За это время я успела подробнее рассмотреть ее. Роста она была маленького и даже при моих скромных габаритах едва доставала мне до плеча. Комплекции полноватой, большой живот, как мешок, висел у нее где-то под грудью. По всей видимости, с возрастом она сморщилась и сжалась, как старый, застиранный носок.

Впрочем, как следует разобрать достоинства ее фигуры у меня не получалось, потому что старуха по большей части сидела на диване, а если и поднималась, то хваталась за ходунки и сгибалась в три погибели. Волосы ее были средней длины, до плеч, волнистые и абсолютно седые, лицо испещрено сетью морщин. На лбу и возле губ они походили на глубокие трещины, на щеках и подбородке – на мелкую паутину.

Но как и в первый день, меня поражали ее глаза. На дряблом старческом лице они казались особенно неуместными. Темные, горящие, умные, они словно прожигали кожу и заглядывали в душу. Я старалась не встречаться с ней взглядом, потому что знала: я его не выдержу.

Домой я возвращалась обессиленная. Чувствовала, что общение со старухой – даже не общение, а нахождение рядом! – высасывает все соки. Она, как ядовитый паук, впивалась в меня и тянула мои жизненные силы.

– Ну, я же говорила! – торжествовала мама. – Эта старуха тебя в могилу сведет.

– Но у нас нет выхода! – пыталась я взывать к ее благоразумию. – Чем мы будем платить за квартиру?

– А чем всегда платили? – Мама удивленно разводила руками и поднимала вверх густо подведенные брови. – Ведь выкручивались как-то.

– Нет, я не хочу «как-то», – вяло спорила я. – Я хочу жить нормально. Я хочу купить себе шмотки, я хочу нормальную свою комнату. Понимаешь?

Она лишь пожимала плечами. Эта жизнь, это убожество, которое нас окружало, эти запахи и вопли ее ничуть не смущали. Она привыкла к ним. Но я задыхалась здесь.

На четвертый день делать было абсолютно нечего. Я тупо сидела рядом со старухой на стуле у круглого маленького столика и смотрела на свои колени.

– Сидишь? – слышался скрипучий голос.

– Сижу.

– Почему не работаешь?

– Делать нечего.

– Ну пойді ковер подмети.

– Я только вчера пылесосила.

– Вчера не считается. Иди.

Я встала, тяжело вздохнула и поплелась за пылесосом.

– Пылесос оставь! – слышался приказ.

– Почему?

– Нипочему.

- И как же я буду ковер чистить?

- Веником.

- Чего?

- Ты что, не знаешь, что такое веник?

Честно говоря, я плохо представляла себе, что такое веник. Дома мы пользовались только жесткими щетками.

- Пойди в чулан, притащи веник.

Я отправилась в чулан. К моему удивлению, там действительно стоял веник.

- Намочи в воде, - командовала старуха.

Я окунула веник в воду и принялась подметать.

- Неправильно метешь! - слышался окрик.

- А как правильно?

- Ты метешь влево, а надо мести вправо!

Я послушно повернула движение веника вправо.

- Полоску, полоску оставляй!

- Какую еще полоску?

- Ровную. Чтобы ровная полоска оставалась. Ты что, не видишь? Ворс в одну сторону должен быть направлен, ровненько. А у тебя вкривь-вкось. Руки кривые!

- Ну хватит! - Я бросила веник. - Больше я подметать не буду. Это не входит в мои обязанности!

Старуха молчала. Я не могла понять, что означает это молчание. Неужели готовит новую пытку?

- Тебе сколько лет? - вдруг спросила она.

- Двадцать шесть.

- Муж есть?

- Мужа нет. И детей нет. И денег нет. - Я помолчала и добавила: - И жизни тоже нет.

- Не бросай слова на ветер. Бывает так, что жизнь меняется за считанные месяцы. А иногда даже за дни.

- У меня такого никогда не было.

- Как же это ты так? Уже под тридцать, а ничего нет?

- Вот так. Не сложилось.

- Это потому, что ты некрасивая. Я вот в молодости красивая была... Все на меня засматривались. Помню, к отцу специально гости заходили - на меня посмотреть.

- Повезло, - ответила я хмуро.

- Думаешь? - Старуха усмехнулась. - Не принесла мне счастья красота...

Мы замолчали.

- Поди-ка сюда, - скомандовала она.

Я молча поднялась.

– Помоги мне добраться вон до того кресла, – и она указала кривым пальцем на кресло-качалку в дальнем углу комнаты.

Я подставила руку, и она оперлась на нее. Несмотря на дряхлость, хватка у старухи была крепкой, а рука – тяжелой. Мне пришлось тащить ее практически на себе, и, пройдя каких-то жалких три метра, я вспотела и покраснелась.

Наконец старуха уселась в кресло.

– Поддай плед! – приказала она.

Я принесла теплый плед без лишних вопросов, хотя в комнате было жарко, укрыла ее ноги, подоткнула с боков.

Она чуть откинула назад голову, закрыла глаза.

– Слушай.

И начала рассказ.

– Шла китайка с длинным носом, подошла ко мне с вопросом... – пропела она.

– Чего? – Я выпучила глаза.

Она хитро улыбнулась:

– Да ладно, шучу, шучу. Слушай...

* * *

Ханох Ланцберг жил в маленьком городке в Литве. Он был сапожником – тачал мужские ботинки, мастерил дамские туфли, тонкие, на каблучках, делал тяжелые меховые сапоги и всякую кожаную мелочь. Среди местных евреев слыл хорошим мастером. К нему часто приходили клиенты. Они болтали, жаловались, пытались шутить... Ханох принимал их сурово, говорил с хрипотцой и, придавая своему некрасивому лицу с большим, будто придавленным, носом и маленькими умными глазами, вид строгий и чуть насмешливый, споро и добросовестно выполнял свою работу. Женщины его побаивались, мужчины уважали. Гордостью Ханоха была борода – в меру окладистая и густая, очень красивая и блестящая. О нем ходили разные слухи: мол, соседей не жалует, к родне не ездит, сторонится всех, – словом, мезынтроп, как сказал про него ученый Гришка, вернувшийся недавно из самой Вильны с папиросами в кармане и модной шляпой на голове.

Ханох был женат. Супруга его, женщина грубоватая, всегда мешковато одетая, была столь незаметной, что никто уж и не вспомнит теперь ее имени. Лишь одна деталь всплывала в памяти, если вдруг, редко, речь заходила о ней: огромное пушистое родимое пятно на щеке, которое кровило всякий раз, когда наступала зима, и она начинала исступленно сдирать засохшую на холоде корку. Кровавое пятно придавало женщине отталкивающий вид, и за ней тоже сохранилось прозвище мезынтропка, хотя ее настоящей сущности никто не знал, да и не интересовался особо. Детей у них не было, и об этом нюансе их жизни тоже любили посудачить злобные кумушки, обремененные вопящим детским выводком. Ханох никакого внимания на эти пересуды не обращал, а держался невозмутимо и отстраненно.

Как бы то ни было, но однажды пришла в их дом беда. Она материализовалась в виде прыщавого и нахального молодого человека, который как-то утром, чуть рассвело, громко постучал в дверь. Не дождавшись ответа, незванный гость нагло ворвался внутрь, подняв чертыхавшегося хозяина с постели, и, зачем-то засучив рукава, выудил из кармана несвежий желтый листок бумаги, принял торжественный вид и громко зачитал:

«Всем мужчинам еврейской национальности в возрасте от 18 до 35 лет велено явиться в означенный день и час в рекрутский дом для производства проверки годности оных лиц для приема в армию. Неявка будет расценена как дезертирство и будет караться по закону, а именно расстрелом.

Командующий К-ским округом

капитан царской армии Лебядко».

Затем парнишка скрылся, оставив за собой отчаяние.

В доме полуслепой одинокой бабы, близ костела, была устроена некруцке[З - Рекрутская (искаж.)], где охраняли созванных рекрутов. Там же проверял их на годность специальный военный врач.

Каждый боялся попасть в армию, поэтому и придумали систему охотников. Охотниками были бедные еврейские парни, которые соглашались идти в солдаты по найму вместо призванного рекрута. Наниматели кормили их хорошо, вдоволь, чтобы врач не забраковал по слабосилию. И все их прихоти исполняли. Даже пословица ходила такая: «Эр нэмт зих ибер ви ан охотник», – мол, жрет как свинья. И капризничает, как красавица какая. За охотниками родственники рекрутов следили похлеще, чем иные царские стражники: вдруг сбежит, каналья, и все старания будут напрасны! А рекруты нарочно питались плохо, чтобы на врачебном осмотре их признали негодными по состоянию здоровья.

Но вот подкралось время «приема». На площади у здания, где заседает воинское присутствие, толчется народ, испуганный, с заплаканными глазами. Ждут приговора. Вот вышел один, молодцеватый щеголь. Шапкой машет счастливец: отпустили! Вместо него теперь охотник служить будет. А вот выводят молодого еврея, бледного, шатающегося, остриженного налысо. Раздаются крики: «Признали годным, забрили лоб!» – и в ответ громкие вопли родных. Плачут родители, плачет жена, орет ребенок. Все они прощаются с «погибшим», может, на долгие годы, а может, и навсегда...

Ханох оказался, как на грех, абсолютно здоров. И к помощи охотников прибегать не стал. Молча собрался, взял сухарей, еще немного какой-то снеди, прихватил свои сапожные инструменты – шило, нитки, тачанку, сухо поцеловал жену и ушел вместе с отрядом полураздетых, худых скорняков и врачей, извозчиков и егерей, лавочников и стеклодувов. Жена его еще долго кричала, бесновалась, заламывала руки и причитала. Но никто ее криков уж не слышал: счастливики разбрелись по своим домам, обнимая «спасенных», а те, чьих родственников забрали, оплакивали их каждый по-своему, втихаря.

Во время службы Ханох продолжал работать сапожником. Это уж потом, много позже, стал он снова вытачивать изящные дамские туфельки да лакированные, из тонкой кожи мужские ботинки, а в то время приходилось латать простые солдатские сапоги. Обувь тогда делали наскоро, как попало, из кожи зарезанного скота, а он к каждому башмаку подходил обстоятельно, заботился о нем, как о ребенке, стараясь вложить в грубую мужицкую обувь и тоску, и любовь, и грусть, и ожидание, и усталость, и надежду, и нежность.

Скоро он стал незаменимым человеком. Его ценили и уважали, но близко сходить с ним боялись.

О чем он думал? О чем мечтал? Что снилось ему по ночам? Куда улетали его мысли в те моменты, когда стучал он своим молотком по облезлым вонючим сапогам?

Может быть, ему снились дальние страны, новые впечатления, неожиданные встречи? Может быть, любовь женщины, дом, дети? Хотя в его-то возрасте полагается оставить срамные мысли, считается, что жизнь уже осталась позади. Но он продолжал надеяться и мечтать.

Случилось ему добраться и до азиатской степи. Оказавшись на окраине страны, в крошечном городке, зажатом между шелковистыми зелеными горами, душном, потном, но отчего-то удивительно обаятельном Верном, Ханох обомлел. Такого изобилия фруктов и овощей, мяса, круп и ягод он не видывал никогда в жизни. А о такой дешевизне и мечтать не мог.

Что такое восточный город в конце девятнадцатого века? Залитый солнцем – солнце на Востоке бывает коварным, от него и жизнь и соки земли, но и смерть, удушье, – заполненный пылью, потом, воплями торговков и криком муэдзина. А что такое восточный город, ставший частью огромной империи и находящийся на земле кочевого народа? Это сумасшедшее смешение языков, цветов кожи и волос, тембров голоса и взглядов на жизнь.

И конечно же горы. Горы, горы, горы... Повсюду великие, прекрасные, разноцветные горы, повидавшие на своем веку и кочевые племена древних саков, и захватнические орды монголов, и жестокие нашествия джунгаров. Эти горы видели столько, что их уже было невозможно ничем удивить.

В Верном, в отличие от других городов империи, к евреям относились терпимо, даже с некоторой симпатией. Слишком много здесь было намешано кровей, слишком тесно сплелись людские судьбы. Однако и тут главной проблемой оставалось право проживания, которое евреи получали с большим трудом, и любая провинность, будь то донос соседа или просроченный документ, могла привести к депортации целой семьи. Причем опасность эта грозила не только мелким ремесленникам, но и богатым купцам, нотариусам, докторам и аптекарям. Поэтому евреям приходилось дружить с местным полицейским начальством. Тем же, у кого не было денег на дружбу, оставалось уповать на Всевышнего. Евреям запрещалось заниматься винокурением и владеть пивоваренными заводами. Те, кто побогаче, шли учиться в университеты, преодолевая все возможные процентные нормы, кто победнее – осваивали ремесла, и это позволяло им передвигаться по просторам Российского государства в поисках лучшего места...

* * *

Я слушала, раскрыв рот.

Старуха умолкла, как будто вынырнула из погружения в какую-то лишь ей известную глубину, и посмотрела на меня невидящим взглядом:

– Ты кто?

– Ева.

– А, Ева-припева. Какая разница? Рот-то закрой.

Но я не закрыла рот, а спросила:

– А этот Ханох – он кто?

– Отец мой, кто же еще. Нет, надо быть такой дурой! Ты, вообще, откуда такая взялась?

– Так я... Сиделка я.

– Сиделка? А чего со мной сидеть? Сидеть я и сама умею.

– А что мне делать? – Я совсем растерялась.

– Как что? Домой иди.

– Так еще же время... – Я пыталась объяснить, что мне положено еще отработать полтора часа.

– Иди, иди! – В голосе старухи зазвучало раздражение. – Не зли меня. Иди, я тебе говорю!

Без лишних слов я встала, собрала свои вещи и вышла из квартиры.

Глава четвертая

– Ничего не могу поделать с этим животиком! – вздыхала по телевизору неизвестная девица. – Это у меня от мамы. Как я с ним ни борюсь, все без толку. Животик отказывается уходить. Я его и диетами, и спортом, и даже лазером пыталась. А он – ни в какую. Не уходит, и все тут!

– Не отчаивайтесь! – С визгом выскочила на экран ведущая. – Сегодня у нас есть революционное средство для борьбы с животиком! Суперантиживотный стресс! Вы еще не знаете, что такое суперантиживотный стресс? Это революционное средство для борьбы с животиком!

Я нажала на кнопку пульта, чтобы переключить канал. Сегодня выходной, и я осталась дома. Встала поздно, с трудом разлепила глаза и поплелась в душ. Пожарила себе яичницу, сварила кофе. Без всякого аппетита съела свой завтрак и отправилась смотреть телевизор.

По телевизору, естественно, показывали всякую дребедень. Меня совершенно не интересовал суперантиживотный стресс. Не потому, что у меня не было

животика, который мне достался от мамы, а потому, что от этого лживого визга меня тошнило.

Я достала семечки и начала щелкать. Это было мое любимое занятие: в выходной день, когда нечем заняться и хочется расслабиться, я доставала пакет с килограммом семечек и принималась сладострастно хрустеть скорлупой.

В комнату вошла мама, в халате и непричесанная. Вид у нее был хмурый и недовольный.

- Перестань щелкать! - прикрикнула она. - Бесит!

Я вздохнула и отложила пакет с семечками. На экране поющих девиц сменил молодой человек, которой с озабоченным видом что-то рассказывал про погоду. Снова нажала на кнопку - и теперь уже по экрану летала стая термитов, намереваясь сожрать все вокруг. Я опять нажала на кнопку...

- Прекрати! - взвизгнула мать.

- Что я опять сделала?

- Перестань щелкать пультом!

- То тебе не нравится, что я щелкаю семечки, то что щелкаю пультом. Не нравится - иди куда-нибудь! - ответила я грубо, но справедливо.

- А, языкатая!

Мама явно входила в то нервное состояние, которого я боялась больше всего. Находясь в нем, она могла бесконечно плакать, кричать, ругаться и призывать на мою голову разные кары.

- Мама, не начинай, пожалуйста, - сказала я примирительно.

Я честно хотела избежать скандала и провести этот несчастный выходной в безделье и тоске, предаваясь моральному и физическому разложению. Но мама уже завелась.

– Ты такая же, как твой папочка! – съязвила она.

Это было ее излюбленное обвинение – «как папочка». Все плохое во мне (а его немало!) унаследовано от папочки, которого я, кстати, никогда и не знала толком. И характер у меня папочкин, то есть дурной; и жру я, как папочка, то есть много; и морочу голову, как папочка, то есть, другими словами, засираю мозги. Причем слово «папочка» иногда заменялось выражениями «эта сволочь» или «этот подонок». Соответственно, я жрала, как эта сволочь, или издевалась над ней, как этот подонок. И все-таки мать любила меня. Иначе зачем бы она положила на меня всю жизнь?

Единственный раз отец появился в нашей убогой квартире, когда мне было лет двенадцать. Я поразилась, увидев его: высокий, худой, холеный. Представила их с матерью вместе. Нет, это невозможно! И как это у них получилась я?

Он погладил меня по голове и подарил туфли на каблуках. Туфли на каблуках! Первые туфли на каблуках в моей жизни! Я потом носила их долго-долго – сначала только по праздникам, потом, когда нога выросла и туфли стали жать, начала их разносить. Разносила примерно года три, пока не разбила их окончательно, а ноги от неудобства чуть не превратились в короткие копытца. В конце концов мать однажды выкинула их на помойку. Я еще долго горевала по своим туфлям на каблуках, потому что больше такой красоты в моей жизни не было.

Итак, этот подонок, сволочь и по совместительству мой отец появился в нашем доме. Он хотел о чем-то поговорить с матерью, но так как укромного места не нашлось, они уселись все в том же закутке, который служил нам кухней.

– Я не могу ничего изменить. – Он понизил голос, что, впрочем, совершенно не помешало мне слышать разговор. – Ну, честно, не могу. Давай оставим все как есть.

Мать сидела неподвижно, с каменным лицом. Она ждала утешения, уговоров. И отец утешал ее и уговаривал. Наконец он достал из кармана конверт. Мать не пошевелилась.

– Это все, что я могу... Пока...

Она продолжала сидеть неподвижно, даже когда он встал, подошел ко мне и еще раз погладил по голове – ласково, как мне показалось. Она не обернулась, когда он вышел из комнаты. Только когда дверь за ним захлопнулась и слышался лязг винтов лифта, она ударила от злости ладонью по столу и завизжала:

– Подонок! Сволочь! Кровопийца!

Мама разрыдалась так горько и яростно, что я испугалась, залезла на кровать, закуталась в одеяло и ждала, пока истерика кончится.

Конверта я больше никогда не видела.

– Мама, не заводись... – снова повторила я робко. В глазах ее стояли слезы, рот искривился, лицо покраснело. Она была готова разрыдаться. – Мама, перестань...

Но было уже поздно. Она погрузилась в то состояние, которое я про себя называла «приступом», и теперь оставалось только ждать, пока она не выплеснет всю ту злобу и обиду, которая накопилась в ее душе.

Она плакала, кричала, жаловалась... По опыту я знала, что это будет длиться долго, поэтому в моих интересах исчезнуть на какое-то время. Остаться дома не имело смысла. Спрятаться все равно было негде, наша крохотная квартирка, начисто лишенная места для уединения, не оставляла мне иного выбора, кроме как одеться и выйти на улицу.

Было начало июня, день выдался жаркий и душный. Я вышла в самое пекло, в одиннадцать часов утра. Солнце полыхало на небе, земля обжигала, влажный воздух с трудом проникал в глотку. Я вздохнула. Идти мне было некуда.

Вокруг стояла тишина. Ни привычного крика детей, доносившегося из соседней школы, ни пьяного лая соседей... Только кошки деловито изучали содержимое мусорных баков да вороны то и дело каркали, возвещая о своих взглядах на жизнь. Семейство религиозных евреев чинно прошествовало мимо. Глава семьи, одетый в праздничный субботний кафтан и меховую шапку, толстым животом

прокладывал путь для своих многочисленных потомков. Я не успела их сосчитать, но идущих на собственных ногах было человек шесть, двое ехали в коляске, и, судя по выпирающему животу изможденной худой матери, еще один вскорости собирался появиться на свет. Ни один из них не удостоил меня взглядом, да мне и не сильно-то хотелось.

Я бесцельно поплелась вперед. Прошла мимо вонючего подъезда, поднялась на улицу по крутым ступенькам, аккуратно обогнула свежую кучку собачьих экскрементов, огляделась вокруг... Идей никаких не появилось, и я побрела по дороге, глядя перед собой невидящим взглядом.

Куда идти? Единственная подруга Сима, с которой мы дружили еще со школы, недавно вышла замуж и уехала на курорт. Немногочисленные родственники жили в другом городе. Денег у меня не было.

Я брела вперед, почти не разбирая дороги. Становилось невыносимо жарко. Казалось, в джинсах и кроссовках – своей обычной одежде – я вот-вот сварюсь заживо. Я забыла взять с собой воду и теперь изнывала от усталости и жажды. Пот заливал глаза, волосы слиплись.

Неожиданно рядом со мной остановился автомобиль. Смуглый водитель, сверкая белыми зубами, предложил прокатиться. Я в ужасе отпрянула. Нет, я не такая, я приличная! Он посмотрел на меня равнодушно и укатил. Я снова осталась одна посреди пустынной улицы, в жаркий, душный день.

Я брела, бессмысленно глядя перед собой. Страшно хотелось курить, но мамины сигареты остались дома, а купить новую пачку было не на что.

Наконец я обнаружила, что достаточно далеко отошла от дома и оказалась в том самом месте, куда хожу вот уже пять дней подряд. Огляделась по сторонам. Маленький скверик, аккуратные лавочки, несколько детей играют на площадке... Старый дом на сваях, такие строили лет тридцать назад. Небольшая лестница, ступенек пятнадцать, ведущая наверх. Скромных размеров сад, довольно запущенный, с дикорастущими розами и лимонным деревом. Еще пятнадцать ступенек, по которым нужно подняться, чтобы попасть в квартиру. Первая квартира на первом этаже.

Я постучала. Послышалось медленное шарканье, что-то внутри зашуршало, зашамкало. Наконец старческий голос проскрипел:

- Ми зе?[4 - Кто это? (иврит)]

Я на секунду замешкалась. Может, уйти? Что я здесь вообще делаю?

- Ми зе? - слышалось из-за двери. Голос раздраженный, нетерпеливый.

- Это... это я. Сиделка.

Замок заерзал, заскрежетал. Старуха приоткрыла дверь, высунула седую голову.

- Ты зачем здесь? - спросила она. - Сегодня не твой день.

- Я знаю, простите, - пробормотала я. - Я ненадолго. Можно я зайду?

Она смерила меня долгим недоверчивым взглядом и наконец сказала:

- Заходи.

Я зашла в дом. Старуха, согбенная над своими ходунками, казалась еще меньше, чем прежде. Но она пропустила меня вперед, давая понять, что предоставляет мне право действовать. Я прошла на кухню. Выпила воды. Села за маленький столик, покрытый клеенкой. Опустила руки на стол и заплакала.

Плакала я долго и отчаянно, всхлипывая и вытирая нос руками. Совсем по-детски... Старуха сидела рядом не двигаясь. Ее каменное лицо не выражало никакого сочувствия. Она терпеливо ждала. Наконец я успокоилась и замолкла.

- Кажется, тебе платят зарплату за то, чтобы ты сидела со мной? - проскрипела она.

- Да, простите. Я сейчас уйду.

- Отчего же? Сказано сидеть - значит, сиди.

Я не понимала. Она издевается надо мной? Хочет заявить в службу по трудоустройству, чтобы меня выгнали? Хочет, чтобы я осталась? Чего вообще она от меня хочет? Совершенно идиотская ситуация, все равно что стоять на площади без штанов: в свой выходной день я сижу в доме у мерзкой старухи, от которой еще недавно мечтала избавиться, и рыдаю у нее на глазах. На что я рассчитывала? На ее утешение? Зачем я вообще сюда приперлась?

- Случилось чего? - после долгого раздумья спросила моя подопечная.

- Ничего особенного, - ответила я. - Просто с матерью поругалась.

- И что, некуда идти?

- Некуда.

- Из-за чего поругалась?

- Из-за телевизора.

- Включай, смотри.

- Уже не хочу.

Старуха смотрела на меня долго и внимательно. Я сжалась от этого тяжелого, пытливого взгляда. Мне стало стыдно. Наконец она сказала:

- Дура ты, вот что тебе скажу. Жизнь - это искусство. Не умеешь ты с людьми ладить. Подход нужно искать.

- А почему я должна искать?

- Потому что тебе нужнее. И еще одну вещь скажу тебе: никогда не требуй от людей того, что они не могут тебе дать.

- Как это?

– А так. Хорошие отношения складываются тогда, когда каждый получает то, что он хочет. А когда хочешь одного, а получаешь совсем другое – тогда счастья не бывает.

Я вздохнула.

– Что-то вы какими-то загадками говорите.

Потом посидела еще немного и встала, чтобы уйти.

– Ладно, я пойду. Еще раз простите.

– Сиди! – прикрикнула старуха. – Раз уж пришла, тогда слушай. А то меня никто никогда не слушает. Буду рассказывать, а ты сиди и молчи.

* * *

...Ханох вышел в запас после пяти лет службы. Тогда ему уже было больше сорока. Уезжал он на родину с тоскливым чувством: приходилось возвращаться к нищете и скуке, к вечному страху и печальной обреченности. За эти годы он привык к шумному, яркому, душному городу, зажатому между горами, к его широким улицам, зеленым аллеям, узким арыкам, к его своеобразной, ни на что не похожей красоте.

Когда – в дороге ли или по возвращении – возникла у него мысль вернуться, сказать трудно. Но возникла и засела, да так, что он готов был на что угодно, лишь бы осуществить ее.

Его жена и слышать ни о чем не желала. Годы, проведенные порознь, разделили их. Они и раньше-то не слишком ладили, даже говорили мало, лишь по необходимости. Теперь же стало совсем невыносимо. Ханох, твердо решившись уехать, был неумолим. Так же непоколебима была и она в своем стремлении остаться в родных краях. После долгих и бессмысленных уговоров, когда он почти надеялся на то, что она откажет, было решено разойтись и разъехаться.

Предстали они перед ребе, который долго и подробно разглядывал, расспрашивал, выслушивал, заползал в самые глубинные, самые скрытые части

их жизни, выпытывал то, что они и сами себе боялись сказать, мучил их своей дотошностью, вырывал самые сокровенные признания. Наконец, удовлетворив свое любопытство, призвал писца, тот выписал гет[5 - Разводное письмо.], после чего они перестали быть мужем и женой.

Не теряя времени, Ханох попрощался с родней и отправился в путь. А бывшая жена еще долго стояла на пыльной дороге, провожая взглядом его кривую телегу и яростно теребила родимое пятно на щеке, которое кровило и отдавало гулкой болью...

Глава пятая

- Ты где была? - Мама встретила меня сурово.

- Да так, ходила...

- Я тебе звонила. Ты не отвечала. Ты оставила меня одну, даже не поинтересовалась: а вдруг мне нужна помощь?

- Мама, тебе нужна помощь?

- Теперь уже нет. Но если бы мне нужна была помощь, как бы я тебя нашла?

- Мама, не морочь мне голову. С тобой все хорошо, со мной все хорошо. Давай закончим с этим и будем жить дальше. Как-нибудь.

Я потянулась к холодильнику. Очень проголодалась.

- А! - Вдруг ее осенило. - Я поняла. Ты была у любовника?!

Я? У любовника? Я аж поперхнулась.

- Мама, ты в своем уме? Какой у меня любовник?

- Да ясно какой. Женатый!

В ее голосе звучало торжество, как будто она на самом деле подловила меня на предосудительной связи с женатым мужчиной.

- Нет у меня никакого любовника, и хватит об этом!

- А почему ты тогда глаза отводишь? Почему в сторону смотришь?

- Потому что я есть хочу, вот почему!

- А! - снова восторжествовала она. - Есть хочешь, потому что в постели кувыркалась! Ты что думаешь, я не понимаю? Да я тебя насквозь вижу!

- А даже если так, то что? - огрызнулась я. Мне даже хотелось, чтобы в ее словах была хоть капля правды.

- Бросай его! - твердо заявила мама. - Бросай. Я-то уж знаю.

- Господи, мама... Что ты знаешь?

Я схватила бутерброд в зубы, налила кипятка в чашку с чайным пакетиком и отправилась в закуток, который служил мне спальней. Стянула с себя потную, пыльную одежду, дожевала бутерброд и залезла в постель. Больше всего на свете хотелось заснуть, но и этого утешения я, кажется, не заслужила. Мать что-то бурчала себе под нос, до меня доносились обрывки слов, восклицаний, ругательств. Периодически ее ругань срывалась на крик, потом слышались слезы, причитания и стоны.

Я закрыла глаза, и в моей голове зазвучал скрипучий низкий голос. Ладно, я сдаюсь. Голос медленно рассказывал...

* * *

...Ей исполнилось двадцать лет. Она была бледной, болезненной и маленькой. У нее были маленькие, будто детские, пальчики, маленький аккуратный ротик,

маленькая худенькая фигурка... И лишь одна деталь явно противоречила ее облику: большие, влажные глаза удивительно глубокого черного цвета. Они ярким пятном выделялись на бледном зеленоватом личике.

Она была похожа на чахлое деревце. Казалось, любое дуновение ветра может сбить ее с ног или, того хуже, вызвать простуду; любое неосторожное слово может вызвать обиду и разочарование, и ее маленькая головка, полная романтических идей, поникнет, а маленькое сердечко, ранимое, как бутон розы, разобьется. Она не была красивой, но обладала каким-то милым, непередаваемым обаянием. Нежность и печаль исходили от нее.

Ее звали Ханой. Она была третьей дочерью бедного гончара Аврома, и у нее не было ни одного шанса выйти замуж.

Она жила недалеко от Вильно, в еврейском местечке. Мать с детства предупреждала, что вокруг евреев подстерегают всяческие опасности: жандарм на лошади может огреть плетью; злой мальчишка – бросить камень; горластая торговка – обидно обругать.

– Еврей, – учила мать, тощая Малка, – это человек, которого не любят. Умгликэхэр унд умэтикь[б - Несчастный и печальный (идиш)]. И вы, девочки, – обращалась она к дочерям, – не должны удивляться или пугаться, если вас обидят. Такова судьба любого еврея.

Один раз Хане довелось выехать за пределы штетла, в столичный город Вильно с матерью и сестрами. Здесь были парки, площади, бульвары, кафешантаны и рестораны, куда Хана не посмела заглянуть. Яркий свет переливался брызгами на столовых приборах и бил в глаза, блестящие полы и зеркальные потолки вызывали завораживающий восторг. В городе были магазины дамского платья, ателье по пошиву шляпок, парикмахерские салоны, лавки брадобреев, таинственные закутки, где торговали удивительными духами, смесями для лица из трав с загадочными восточными названиями, одуряющими специями, разноцветными тканями, пуговицами, крючками, спицами, пальцами, кружевами, оборками, лентами, нитками. От всего этого изобилия кружилась голова.

Величественные породистые лошади чинно везли пышные кареты с золотыми вензелями и фамильными гербами, занавешенные тонким шелком, сквозь

который можно было угадать изящный профиль прекрасной богатой дамы, решившей, возможно, нанести визит своей давней знакомой, посетить магазин модного платья, или, что тоже не исключено, тайно навещавшей своего возлюбленного. Были и кареты попроще, и бесчисленные извозчики, и даже – о чудо! – автомобиль. Хана пришла в полнейший восторг от одного лишь вида этого технического совершенства.

Ее поразили поющие карусели и бьющие фонтаны, неторопливые лебеди в прудах и спешащие на службу чиновники, озабоченные мамы в крахмальных чепчиках и роскошные господа в цилиндрах.

В городе жили чиновники, хозяева лучших лавок, местная знать и богатые еврейские купцы, податями и взятками завоевавшие право жить среди «первосортного» населения. Ближе к рынку, на кривых и грязных улицах, размещались дома мелких торговцев, клерков, шинкарей, извозчиков и просто бездельников. Здесь пахло мочой и человеческим телом, а еще – жареным луком, кислым вином и конским навозом. Чуть дальше от города, в предместьях, жили крестьяне, которые выращивали овощи на своих огородах, а потом привозили на рынок для продажи. Также в предместье жили евреи. Зажиточные содержали постоянные дворы с кабаками для приезжающих в город крестьян, продавали им водку и нужные в деревенском хозяйстве предметы в обмен на хлеб и другие сельские продукты. Те из них, кто посметливее, занимались «хлебным ростовщичеством»: еврей давал крестьянину заем под залог его будущего урожая и часто приобретал после уборки хлеба значительную часть его по низкой цене. О таких людях говорили: эр лэбт фун гой[7 - Он живет от мужика (идиш)].

Но всех этих практических сторон жизни Хана не знала и вовсе ими не интересовалась. Жизнь ее протекала в унылой, беспросветной убогости. Бедность была настолько удушающей, что нередко сестрам было нечего есть. Бывало, мать посылала ее за подсолнечным маслом и давала в руки чашку, а торговец наливал каплю масла на обратную сторону чашки, в крошечный ободок на дне. Часто денег не хватало даже на хлеб, и тогда вместе с сестрами они отсчитывали крупинки риса или перловки – каждой по тридцать штук – и варили в картофельном отваре.

О замужестве она и не мечтала: пока старшие сестры на выданье, ей и думать об этом нечего. А их никто не брал. Окружающие молодые люди жили в такой же нищете, и подумать о том, чтобы привести в дом лишнего человека, а потом

нарожать лишних ртов, было невозможно.

Ее девичье сердце еще не знало любви, оно жило в блаженном ожидании ее и в потаенном страхе: слишком несбыточными и невозможными были ее мечты. Часто перед сном одолевали ее срамные мысли о мужчине, с которым свяжет она свою жизнь, об их общей судьбе, о детях... Она краснела, стыдясь сама перед собой, ее смущали собственные фантазии, но отказаться от них было выше ее сил.

И все же Хана знала, сколь призрачны эти мечты и сколь мала возможность их осуществления. Она боялась пробуждения, боялась осознать, сколь несчастна ее жизнь, и поэтому слыла нелюдимою и скрытной. Ей казалось, что люди могут спугнуть ее придуманное счастье, а потому она все чаще избегала их, чтобы оставаться наедине со своими упоительными мечтами о суженом.

И вот однажды это унылое существование нарушил приезд дяди, отцова брата. Никто его, по правде говоря, не ждал. Отец связи с ним почти не поддерживал, только изредка, по большим праздникам, навевывались они друг к другу. У Ханы воспоминания о родственнике были весьма смутными. С трудом припоминала она и других родичей: бабу, деда, дядьев и теток. Они казались ей похожими на кур: квохчущие, непоседливые, суетливые.

Но дядя приехал, и на его суровом лице читалась непоколебимая, абсолютная решимость. Хана оробела.

Немного отдохнув и пообжившись, Ханох рассказал брату о своем плане.

– Понимаешь, я должен ехать, – с необычным жаром говорил он, – я чувствую, что не могу больше здесь находиться. Опостылело все. Нейдется мне. Душа болит.

– Понимаю, – кивал головой Авром и усмехался в усы.

Он, конечно, совершенно не понимал и считал затею с Азией дурацкой блажью. Ханох всегда был таким – странным, нелюдимым, с несбыточными идеями в голове. Но, зная брата, зная его упрямство, Авром ничуть не сомневался, что тот исполнит задуманное.

– Там солнце, там горы, – продолжал Ханох, – там такой воздух... – и он развел руками и вздохнул, будто прямо сейчас ощущал его. – Там рай, понимаешь?

– Угу, – соглашался Авром.

– Вот погощу тут у вас с недельку – и в путь. Волон прикуплю, еды кое-какой – и поеду.

– Ага, – вторил Авром, – пойдём, я тебе хозяйство покажу.

Какое там хозяйство! Только громкий звук. Две еле живые курицы, покосившийся дом и гончарная мастерская, где Авром мастерил простые горшки, чашки да тарелки. И при ней крошечный закуток с прилавком, за которым неизменно стояла одна из дочерей – торговала отцовскими изделиями. Редко кто заглядывал в лавку, а если и приходили покупатели, то брали в основном в долг. А Малка, в свою очередь, у них брала в долг: у зеленщика – овощи, у резника – курочку на Шаббат, у пекаря – халу. А потом ждали месяцами, может, кто куш большой сорвет, а у кого родственник богатый объявится... Но чудес не случалось. И нищета вместе с долгами росла, а будущее пугало все сильнее.

Заглянули в лавку. На этот раз торговала Лея, худая девушка с длинным острым носом и поджатыми губами. Она изобразила улыбку на своем недобром лице, и Ханох приветливо улыбнулся ей в ответ.

– Старшая моя, – бросил мимоходом Авром, – Лея. Засиделась девка. Давно бы замуж ей. Да не берет никто. – Это уже тихо сказал он, чтобы дочь не услышала. Ханох понимающе кивнул. – А теперь пойдём за стол. Что Бог пошлет.

Обед был очень скромный – гречневая каша, несколько кусочков хлеба, крошечная чашка масла и пустой морковный чай.

Сели за стол. Авром степенно, неторопливо прочитал молитву, семейство хором ответило ему «Омейн!», и трапеза началась.

Хана сидела против Ханоха, и личико ее непривычно алело под его взглядом. Ей нравился его упрямый, жесткий профиль с мясистым носом, его крепкие

квадратные пальцы, затвердевшие от тяжелой работы, исходившее от него мужское сильное тепло, ей неведомое. Она стыдилась своих мыслей и старалась гнать их молитвой. Он же ловил себя на том, что племянница вызывает в нем чувство умиления, как малый ребенок, которого хочется приласкать и обогреть. Так, украдкой поглядывая друг на друга, провели они скудное застолье, пока Авром потчевал Хануха последним анекдотом из Вильно, который завез разбитной и вечно пьяный извозчик Симха, один из немногих, у кого была работа в городе:

– В общем, поймал мужик в реке черта. Тот говорит: отпусти меня, я выполню твое любое желание. Мужик подумал и говорит: забери мою жену. Тот забрал. Через неделю приходит мужик на то же место, видит, сидит черт и плачет, а вместо реки уже целое море. «Забери свою жену, – говорит, – я исполню три твоих желания». У-ха-ха-ха, – Авром сочно рассмеялся, – правда, смешно? – и тут же смутился под недовольным взглядом супруги. – Нит умз гидэшт[8 - Не про нас будет сказано (идиш).], – добавил он сухо.

После еды пошли спать.

На следующее утро Ханух проснулся необычайно поздно. Умылся, сгрыз кусок старой лепешки, прошелся вокруг дома, оглядев скромное «хозяйство» брата. Тот ловко орудовал в своей мастерской, и глина под его мокрыми руками приобретала плавные, округлые очертания, похожие на женское тело. Ханух даже смутился от своих мыслей. В темном, жарком, душном и пыльном чулане, как всегда, стояла одна из дочерей. Ханух кивнул приветственно племяннице – и, к своей радости, вместо злобной Леи увидел кроткую Хану. Та, заметив его, затрепетала и покрылась алым румянцем.

– Шолейм, – поздоровался он. Она что-то пролепетала в ответ. Ханух взял в руки чашку, повертел ее.

Тебе нравится здесь? – спросил он, чтобы что-то спросить.

– Да, – ответила она так же тихо.

Он взял горшок, снова покрутил его. Тот был неровным, по краям то и дело попадались зазубрины, а пересушенная глина осыпалась с боков.

- Халтура, - сказал Ханох и бросил горшок оземь. Тот разбился с треском.

- Ах! - вскричала Хана, и тут же на шум прибежал Авром.

- О, за что мне такое несчастье! - закричал он, и самые безобразные проклятия посыпались из его рта.

- Я куплю этот горшок, - сказал Ханох, - а ты не подсовывай людям дерьмо.

- Ах так! - завопил Авром. - Ты жену свою учить будешь, а не меня! И спроси у нее, почему она детей тебе не родила? А?! Может, у тебя не работает что?

Ханох плюнул и вышел из дома. Он был взбешен. Его неудачная женитьба, его одиночество преследовали его, а общение с братом всегда заканчивалось ссорой. Так было с детства. Оба были с норовом, и, сталкиваясь, каждый стоял на своем, не желая уступать. Авром, яростный, порывистый, на выражения не скупился, в то время как Ханох, замкнутый и упрямый, не терпел оскорблений. Нужно было срочно уезжать. Только волов новых и выносливых купить да кибитку починить - и в путь, не теряя ни минуты.

Вдруг сзади он услышал шаги.

- Дядя! - окликнул его тонкий голосок. - Подождите!

Он остановился. Хана подбежала, запыхавшись.

- Не обижайтесь. Он хороший, только несчастный очень. И все мы тут... несчастные.

Он взглянул на нее - на пронзительные темные глаза и чуть алеющие щечки... Она была невыносимо мила.

- Ты тоже несчастна? - спросил он.

- И я, - прошептала она.

- Пойдем, - позвал он.

Они ушли в лес и долго гуляли, собирая шишки, желуди, засохшие листья. Он рассказывал ей армейские истории, она с замиранием сердца слушала. Смеялись, шутили, баловались. Наконец устали.

Они сели в прохладной тени. Хана была очаровательна: порозовевшая от воздуха и возбуждения, с белыми маленькими зубками, посверкивавшими на свету, с крошечной грудью и тонкой талией. Она сняла разношенные сестрами туфли, и среди зелени мелькнули ее белые ножки. Она сосала ягодку земляники, найденную тут же, в кустах, и капельки красного сока блестели на ее губах.

- Фейгеле[9 - Птичка (идиш).], - сказал он ласково, - ты знаешь, что похожа на птичку?

Она лишь улыбнулась. Яркая розовая капелька скользнула вниз по шее, нырнула за воротник и скрылась.

Вечером Ханох, простив обиду, подошел к Аврому:

- Отдай за меня Хану.

- Ты с ума сошел? - Тот аж поперхнулся от изумления. - За тебя? Хану? Тебе сорок лет! Ты ее родной дядя!

- Знаю. Отдай. Люблю я ее.

- Ты ж уезжаешь! В Азию! Нет, это невозможно...

- Отдай, - стоял на своем Ханох, - я заплачу.

- Возьми любую из старших, - подобрел Авром, - у нас же две девицы на выданье. Бери любую, отдам за так.

- Не хочу, - упрямылся Ханох, - ее люблю...

– Где это видано? – возопила Малка, когда Авром рассказал ей про предложение. – Чтобы родной дядя на родной племяннице женился? Да еще сам-то старик, а она – кроха! Никогда! Только через мой труп!

И Авром с ней совершенно согласился.

На следующий день Ханох опять пришел с просьбой. В руках у него была пачка бумажных ассигнаций.

– Смотри, – предложил он брату, – я заработал, скопил. Я отдам тебе все. Только оставлю чуть-чуть для поездки. Я заберу ее, сделаю счастливой. Она ж совсем зачахнет тут, – и он обвел руками убогую каморку. – А на эти деньги ты других замуж выдашь.

Задумался Авром. Опять вопила Малка, опять возмущалась:

– Где это видано? Аза мазл уйф майнэ сонаим![10 - Врагам моим желаю такое счастье! (идиш)] И куда, куда он увезет мое дитячко? В пустыню! К монголам! Никогда! – рыдала она.

– Ну, подумай, Малкале, – уговаривал ее Авром, – разве лучше, чтобы она здесь в нищете погибла, безмужняя и бездетная? Такой же шанс раз в жизни бывает!

– К азиатам мое дитя – никогда не отпущу!

– Он защищать ее будет, ведь он дядя!

– А в постельку он ее затащит тоже как дядя? – съязвила она сквозь слезы.

– Нет. В постельку он ее положит как муж, – отрезал Авром, который принял решение.

Он был из породы людей, которые крайне не любят вносить в свою жизнь изменения. Тощий, с моргающими, хитрыми глазами, Авром уважал жену, был предан и послушен ей, но не терпел никакого на себя давления. Малейшее недовольство, цикохт, воспринимал он как личное оскорбление и тут же спешил поступить вопреки воле жены, часто вопреки также и здравому смыслу. Поэтому

решения в семье принимались хоть и редко, но всегда нелепые и противоречивые.

Теперь же между супругами вспыхнула настоящая война. Малка ни за что не соглашалась отдать дочь замуж за деверя, в то время как Авром был настроен решительно. Он рассуждал так: девице ничего хорошего будущее не обещает, женихов подходящих в округе нет и не предвидится. А брата своего он хоть и недолюбливал, но признавал за ним добропорядочность и совесть.

– Все ж таки не кому-то отдаем, а родному человеку. Можно сказать, все равно что отцу родному! – говорил он.

Малка упиралась, как телок, которого ведут на заклание.

– Не бывать такому! – твердила она.

Наконец порешили, что устроят молодым «очную ставку». А там на семейном совете решат, быть браку или не быть.

Вечером за чаем собралась вся семья. Старшие сестры знали о готовящемся, в то время как Хана ни о чем не подозревала. Она была одета в свое простое серое платье с ситцевой оборкой на рукавах, поверх юбки повязан черный передник; причесана гладко, волосы убраны высоко. За столом царило настороженное молчание, все чувствовали торжественность минуты. Хана начала нервничать, сообразив, что происходит что-то, ей неизвестное.

Но до конца трапезы никто не решился начать опасный разговор. Напряжение сохранилось и до позднего вечера. Лишь совсем перед сном, когда семья устала от томительного ожидания, отец подозвал к себе Хануха, уселся с ним в дальний угол, а Хане велел принести зажженные свечи. Все замерли в ожидании. Невеста задрожала, побледнела, но не смела ослушаться – взяла в руки подсвечники и отправилась в путь, занявший всего несколько шагов, но ей показавшийся вечностью. В голове роились тысячи мыслей, а сердце замирало от страха. Залитая светом свечей и краской стыда, но прямо глядя перед собой, предстала она перед братьями.

Маленькая, хрупкая, невинная девочка, в жизни своей не ведавшая страсти, теперь вложила в свой взгляд всю решимость и силу. Отблеск свечей эффектно

оттенял ее бледную кожу, а блеск в глазах придавал ей вид уверенный и гордый.

- Пойдешь за него замуж? – спросил отец.

Она, зардевшись еще больше, почувствовав на себе взгляд хитрых, сощуренных глаз, ответила не сразу.

- Пойду, – выдавила она.

- Ну иди, – усмехнулся Авром.

И она, смутившись, поставила свечи на стол и поспешно отошла.

Сыграли свадьбу. Скоро – ведь ехать нужно было неизвестно куда, на край света, в другой мир, в другую жизнь. После шумного и веселого обряда невеста отправилась в свою спальню – и оставалась там, пока не появились мать и старшие сестры в сопровождении женщины, вооруженной большими ножницами. По знаку матери она взяла в руки голову невесты, прижала к своей груди, и вскоре убийственные ножницы срезали одну за другой ее рыжеватые косы. Потом натянули на голову прилегающий тугой черный парик, из-под которого не должен быть виден ни единый ее собственный волосок.

В качестве подарка Ханох преподнес молодой супруге новенькие ладные туфельки.

- Жене сапожника не пристало ходить в разношенных ботинках, – сказал он.

Прощались тяжело. Женщины плакали, каждая о своем: сестры завидовали Хане и жалели ее одновременно, мать мучилась от боли и тоски, злилась на мужа, допустившего такую разлуку, но молчала. Хана плакала, но в своем намерении оставалась тверда: лучше расстаться навсегда, чем помирать с голоду всем вместе.

- Зол дир Гот оплайн![11 - Храни тебя Господь! (идиш)] – сказала мать на прощание.

Авром подошел к Ханоху и промямлил:

- На, возьми деньги, что ты мне дал.

- Не надо, - начал было отказываться Ханох.

- Бери, бери. Вам в дороге пригодится. Береги ее, - всхлипнул он, - младшенькую мою... Мизынкл...[12 - Последний ребенок в семье (идиш).] - и на его худом морщинистом лице блеснула слеза.

Братья обнялись. Больше они никогда не виделись...

Глава шестая

Как только я вошла в квартиру, сразу почувствовала, что сегодня будет непросто. Я уже научилась улавливать атмосферу в доме по малейшим признакам: задернутые шторы, закрытые наглухо окна, острый запах лекарств - все это свидетельствовало о том, что старуха не в духе и мне предстоит тяжелый день.

Как я и предполагала, она полулежала в своем кресле: глаза закрыты, губы плотно сжаты в тонкую полоску, выражение брезгливости и недовольства застыло на лице. Когда я подошла, она раскрыла глаза, как будто вынырнула из погружения в какую-то лишь ей известную глубину, и посмотрела на меня невидящим взглядом.

- Ты кто?

- Ева. Ева.

- А, Ева, Неева. Какая разница?

Я поспешно закрыла рот, который имел неприятную особенность открываться в самый неподходящий момент.

- Ты, вообще, откуда такая взялась?

- Так я... Сиделка я.

- Сиделка? А чего со мной сидеть? Сидеть я и сама умею.

- А что мне делать? - Я совсем растерялась.

- Сделай мне чаю.

Я пошла на кухню. Открыла ящички с разными кухонными принадлежностями, нашла чашки, блюдца, сахар. Чая нигде не было.

- Сейчас сбегая, - пообещала я старухе.

Я выскочила в соседнюю лавку, купила чай в пакетиках и помчалась обратно. Всю дорогу гордилась своей расторопностью и сообразительностью. Вот сейчас я ей покажу, что тоже кое на что гожусь!

Я заварила старухе чай в пакетике и торжественно поднесла на блюде. Она по-прежнему полулежала в своем кресле.

- Это что? - спросила она сердито, разлепляя глаза.

- Чай, как вы и просили.

Она взглянула на чашку, взяла ее двумя пальцами, отхлебнула глоток, и лицо ее исказила гримаса ужаса.

- Это что за пышерц[13 - Моча (идиш).] ты мне подсунула?

- Какой еще пышерц? Это чай... - Я растерялась и даже немного испугалась. Глаза ее, черные и злые, сверлили меня ненавидящим взглядом.

- Это не чай, а моча! Ты, вообще, знаешь, что такое чай?

– Знаю.

– Да ни хрена ты не знаешь! Пошла отсюда! – прикрикнула она раздраженно.

– Да куда же я пойду?

– Домой иди, куда хочешь.

– Так я ж доработать должна...

– Иди, иди! – Раздражение в голосе старухи превратилось в настоящую неприкрытую злобу. – Не зли меня. Иди, я тебе говорю!

Я суетливо собралась и вышла.

Остаток дня я провела перед телевизором, рассуждая примерно так: «Ну и ладно! Ну и пожалуйста. Пусть кто-нибудь другой слушает бредни полоумной старухи. Вот делать мне больше нечего!»

– Ты достойна лучшего! – сообщил телевизор.

– Вот это правильно! – согласилась я.

Я слышала, как вернулась мама. Она заглянула в мою каморку и спросила, как дела.

– Эта старуха меня с ума сведет! – пожаловалась я.

– Ну, я же говорила! – Мама расцвела от удовольствия. – Бросай эту работу, – сказала она, жуя хлеб с колбасой. – Эта старая ведьма тебя со свету сживет. Поверь моему опыту.

Мама доела бутерброд, уселась на стул и закурила.

– Я-то знаю, – добавила она.

Она действительно знала. Как правило, на каждой новой работе мама проводила от двух до шести недель, потом или сама уходила, или ее увольняли. За двадцать лет она успела поработать секретаршей, продавщицей, маникюршей, нянькой, уборщицей... Честно говоря, не представляю, как мы могли существовать все это время на ее скудные доходы и не умереть с голоду, пока работать не пошла я. Но про мою карьеру вы уже знаете.

- Что эта старуха, единственная, что ли? - продолжала рассуждать мама. - Найдешь другую. Или на курсы пойдешь. А что? Утром - подработка, вечером - курсы? А?

Рано утром на следующий день раздался телефонный звонок. Звонила блондинка из бюро по трудоустройству.

- Тут на тебя жалоба поступила, - сообщила она, что-то жуя. - Недовольны тобой.

- Знаю, - вздохнула я обреченно.

- Но тебе повезло. Ты уже четвертая сиделка за последние два месяца. Поэтому мы объяснили нашей клиентке, что если она не перестанет капризничать, то мы будем вынуждены лишить ее услуг сиделки.

- И что, помогло?

- По крайней мере, она присмирела. Решила дать тебе второй шанс.

- Я счастлива.

- Можешь возвращаться на работу. Но учти, если она во второй раз пожалуется, придется тебя уволить.

- Учту.

Когда я пришла к старухе, та встретила меня недовольно, с кривой от обиды физиономией. Но, по всей видимости, она понимала, что не может менять сиделок до бесконечности.

- Проходи, – сказала она сурово.

Я зашла в дом и села на стульчик возле круглого столика, покрытого клеенкой.

- А чай ты все равно не умеешь заваривать! – проворчала она.

- Нельзя требовать от человека того, что он не может дать, – ответила я.

Она удивленно взглянула на меня.

- Что ты сказала?

- То же, что и вы мне сказали. Не требовать от человека того, что он не может дать.

Она задумалась. Видимо, цитата из собственных высказываний ей польстила. Взгляд старухи потеплел.

- Помоги мне встать, – велела она.

Я подошла, протянула руку, и она тяжело оперлась на меня.

- Пойдем, научу тебя заваривать настоящий чай.

Старуха отвела меня на кухню.

- Доставай чайник! Бери пачку чая! Смотри, как надо делать! – командовала она.

Она взяла в руки красивый чайник из тонкого фарфора. Обдала его кипятком, покрутила в воздухе так, чтобы горячая вода ошпарила стенки сосуда. Вылила в раковину и засыпала добрую пригоршню заварки. Затем опять залила кипятком и аккуратно поставила на мраморный стол.

- Теперь подождать надо. Хороший чай должен настояться.

Через пять минут мы пили ароматный, вкусный чай. И я про себя согласилась с моей подопечной: настоящий чай не имел ничего общего с пойлом из пакетиков.

От горячего напитка старуха покраснелась, похорошела. Губы ее приобрели розовый оттенок, в глазах появился блеск. Она даже причмокивала от удовольствия.

– Хорошо... – бормотала она. – Эх, хорошо как...

* * *

...Ночь сухая, летняя, в воздухе стоит запах остывающего южного города: смесь навоза, фруктов и травы.

Заходило солнце. На горизонте, будто выплыв из-под закатного светила, появилась маленькая точка – кривая повозка. Приземистая и неуклюжая, она двигалась медленно, еле-еле. Тащили ее два быка, исхудавших и мокрых. Повозка то и дело переваливалась из стороны в сторону, как гусыня, и угрожала перевернуться, однако, на удивление, упрямо продолжала свой путь.

В сумерках угадывались силуэты двух людей – мужчины и женщины. Мужчина управлял быками, а женщина сидела на тюках с вещами, держа на руках сверток с младенцем. Ребенок закричал, мать крепче прижала его к себе.

Ханох и Хана бесконечно устали, быки еле ковыляли, а малыш жалобно пищал. Уже почти стемнело, когда повозка наконец въехала в город. Им предстояло начать здесь новую жизнь. В пути, с остановками, провели они почти целый год – нищие, обессиленные, одинокие люди, не знающие, куда приткнуться и к кому обратиться за помощью.

Они остановились около одной избы. Ханох слез с облучка и постучал в дверь.

– Откройте, пожалуйста, – на плохом русском сказал он.

В хате долго шуршали, крутили засов, кряхтели. Слышался недовольный бабий голос: «Кого это там несет на ночь глядя?», кто-то громко сморкнулся. Наконец дверь открыли.

- Шо потребуе? - угрюмо спросил низенький рыжий мужичонка с редкими усами.

- Нам бы переночевать, - просительно пробормотал Ханох. - Я сапожник, - продолжал он, - могу все починить, залатать. Что нужно - все могу. У меня вот в повозке жена и ребенок, нам бы переночевать. Хоть в углу где-нибудь...

Мужичонка недоверчиво оглядел Ханоха. Взглянул на его черный сюртук, включенную грязную бороду, усталое лицо, посмотрел на худую бледную женщину, на пищащего от боли и усталости младенца, из последних сил трепыхавшегося, и шагнул в сторону, пропуская гостей.

Его звали Михайлой, был он кузнецом. Хороший человек, но недоверчивый, в каждом видел недруга и соперника. Никому не верил, всех подозревал в подлости, но дела вел честно, без обмана. На базаре держал он небольшую кузницу. Работал споро, быстро, без лишних разговоров.

- Шо потребуе?

- Замок выковать.

И Михайло охотно, быстро делал, что нужно.

- Шо потребуе?

- Забор повалился.

И Михайло брал в руки молот, лом, другие инструменты и шел чинить разбитый забор.

Но главной и самой востребованной услугой в кузнице у Михайлы была подковка лошадей. Четыре столба с перекладинами, между ними вводили лошадь, подвязывали ее ремнями, почти подвешивали, и после этого подковывали. Лошади жалобно стонали, совсем как люди, и из глаз их текли слезы. Но Михайло свое дело знал, долго не мешкал, животину не мучил. Раз-раз - и готово. Он вообще был человеком скорым, долго не раздумывал, действовал, как велело сердце и требовали руки. В город он приехал, прослышав про сказочные богатства края, говорили тогда, что хлеб чуть ли не сам на деревьях растет. А

он-то молодой, горячий! Долго не думал, пешком и на перекладных преодолел тысячи километров. Быстро соорудил кузницу, женился, детей родил и был вполне доволен жизнью.

Его жена Крыстына, крупная, упрямая и голосистая, поила гостей айраном и кормила перловой кашей. С дороги, голодным, им все казалось вкусным и красивым – и постная каша, и неприветливая Крыстына, и подозрительный Михайло. Все было хорошо – лишь бы не на улице, лишь бы в тепле, в сухом доме.

– Шо думаете делать? – спросил Михайло, когда Ханох и Хана поели.

– Я сапожник, – повторил Ханох, – буду этим заниматься. Нам бы дом подыскать...

– Деньги есть?

– Совсем немного. Но я заработаю.

– Добре. Я вам дом укажу. Есть здесь один неподалеку. Продается. Но за это ты мне боты новые сделаешь.

Ханох, конечно, согласился. Но прежде необходимо было срочно найти врача – младенец Моисей, родившийся в дороге, таял на глазах.

После тяжелой, мучительной ночи, когда малыш, не замолкая ни на секунду, вопил до хрипа в голосе и до свиста в ушах, Михайло притащил старого врача Рабиновича, полуслепого и нелепого. Маленький, согбенный, суетливый – он совершенно не вызывал доверия. Но выхода не оставалось, он был единственным доктором (с образованием!) во всем городе. Рабинович осмотрел младенца и ловко вколол в красное сморщенное тельце лекарство.

– Дыфтеррия, – важно заключил он, – ну-с, будем лечить.

Лечились долго, целых две недели. Младенец задыхался от страха и боли, родители не находили себе места, не знали, как облегчить его страдания. Михайло согласился за помощь по хозяйству предоставить им ненадолго место в

хате, и первые недели пребывания в городе ушли на бесконечную беготню – носили младенца трижды в день на уколы; достали лекарственные порошки и разводили их в молоке, а потом кормили ребенка этой горькой смесью. Кроме того, доктор Рабинович применял чудодейственный препарат для лечения гнойников, которыми было усыпано маленькое тельце. Это был странный пластырь из шпанских мушек, который, по заверению доктора, помогал при любых жалобах и недомоганиях и был в ходу еще во времена его бабушки. Пластырь не снимали с больного места до тех пор, пока не образовывался нарыв, который потом вскрывали ножницами и долго держали открытым, чтобы вытянуть гной, не позволяя ране затянуться при помощи наложенной на кусочек холста бухнеровской мази. Малыш заходился в крике, а родители теряли рассудок в то время как врачеватель, сочно причмокивая беззубым ртом и прищелкивая губами, колдовал над ним, пришептывая слова молитвы.

Но никакие чудотворные средства не помогали. Ребенок продолжал болеть и чахнуть, и казалось, дни его сочтены. Мать рыдала над его маленьким, словно тающим день ото дня телом, а он уже не отвечал ей даже слабым криком. Силы покидали его буквально на глазах, и надежды уже не осталось. Он исхудал и ослабел настолько, что даже не мог сосать грудь, из которой настойчиво, толстой струей, лилось молоко.

Видя, что дело плохо, старик врач помрачнел и сгорбился еще больше, чем раньше. Он ходил вокруг умирающего кругами, нахмурившись, шевеля губами, и в глазах его читалась напряженная работа мысли. Наконец он сказал:

– Есть еще одно средство. Очень опасное. Ребенок может погибнуть.

– Нам терять нечего, – ответил обессиленный Ханох, взглянув на полумертвого младенца.

– Тогда мне нужен бык.

– Зачем? – удивились прибывшие.

– Азохен вей! Не спрашивайте меня ни о чем, – отрезал Рабинович, – выполняйте.

Родители подчинились, хотя телега с быками была их единственным имуществом. Во дворе забили быка. Прежде чем содрать с него шкуру,

разрезали живот, и старик четким, хотя и слегка нервным движением вынул дымящийся желудок, положил его в ясли и накрыл шерстяной тканью, чтобы сохранить тепло. Так, красный, влажный желудок, пахнувший слизью и кровью, принесли в каморку, где лежал ребенок. Рабинович взял в руки большие ножницы, разрезал желудок, отчего комната наполнилась теплым и отвратительным запахом переваренной пищи. Затем он бережно поднял младенца и усадил его внутрь желудка. Хана вскрикнула и побледнела. Бледным был и Ханох. Рабинович, казалось, ничуть не смутился, а лишь, продолжая нашептывать себе под нос слова молитвы, одной рукой окунал несчастного в бычьей внутренности, а другой тщательно покрывал его с ног до головы содержимым. Ребенок, удивительное дело, не плакал и, казалось, совершенно не был напуган. Он молчал и лишь слабенько постанывал, закрыв глазки, когда на головку ему вываливалась густая, дымящаяся и зловонная масса. Невероятно, но уже через несколько минут бледные щечки порозовели, глаза открылись. Тогда старик, довольно хмыкнув, вынул малыша из желудка, искупал и уложил в колыбель. Через полчаса спокойного сна младенец проснулся и впервые за много дней провел язычком по иссохшим, бескровным губкам. И тут же теплый молочный ручеек полился в его ротик, он приник к материнской груди и долго, жадно, с аппетитом сосал.

С этого момента он стал поправляться. Сначала попискивал жалобно, как мышонок. И так страшен был этот тонкий звук, так невыносим... Потом он начал крепнуть, и писк вырос до стога – более уверенного, но по-прежнему ужасного, словно звук пилы, разрезающей сердце. Прошло время, и мальчик бодро заорал. Родители замерли от счастья – он был спасен.

Незадолго до приезда Ланцбергов в Верный здесь началось строительство синагоги. Возвели ее быстро, за несколько месяцев. Это было приземистое деревянное здание, лишенное украшений и внешних отличительных признаков. Евреев было мало, с трудом собирали они положенный традицией миньян[14 - Собрание из десяти мужчин для проведения религиозной церемонии.], поэтому скромный размер молельного дома их вполне устраивал. Вокруг синагоги тут же развернулась грандиозная битва за места раввина и резника. Из-за скудости средств местная община не могла позволить себе содержать постоянного раввина и весь синагогальный штат, поэтому религиозным служащим приходилось совмещать молельную работу с мирской. Раввин Моше по совместительству держал посудную лавку, а шамес[15 - Служка.] Шмулик Ноздреватый вязал шапки из овечьей шерсти. Вместе с тем должность раввина

подчинялась жесткому правительственному контролю, и к выборам допускались только те, кто подходил под образовательный ценз и проходил проверку на «благонадежность». Выборы раввина проходили в полицейском участке, а после избрания вступающий в должность священнослужитель клялся на верность императору, как и любой другой государственный служащий.

Но главной трудностью стал выбор резника. Так как в округе не нашлось ни одной подходящей кандидатуры, пришлось выписывать специалиста из Средней полосы России, из самого города Могилева. Им стал мещанин Лейзер Сухощевский. Он появился – толстый, раздутый, как самовар, с котелком на голове, в слегка потертом и заношенном костюме с зонтом. На местное население смотрел свысока, называл их не иначе, как «татарвой черной» и совершенно не стеснялся в выражениях, заигрывая с покупательницами. Не удивительно, что верненцы встретили заезжего резника с повадками афериста крайне враждебно и даже потребовали отправить его обратно. Только после вмешательства военного губернатора Семиреченской области конфликт удалось замять, и Сухощевский был оставлен.

Ханох сразу подружился с Рабиновичем и ребом Моше; дом, предложенный Михайлой, вполне подходил, и вскоре у них появились своя сапожная мастерская и маленький собственный мирок...

Глава седьмая

– Сегодня мыться будем, – с порога объявила мне старуха.

«Интересный поворот сюжета», – подумала я. Ведь моя подопечная в первый же день нашего знакомства заявила, что ей от меня ничего не нужно. Хотя за эти несколько недель она уже не раз заводила меня в тупик своими рассказами, так что я не сильно удивилась.

– Ну, мыться так мыться! – сказала я бодро.

– Иди, готовь мне ванну, – приказала она.

«Готовь ванну!» – повторила я. Ничего себе у бабули запросы! Я сроду не принимала ванну. Может, в младенчестве мама купала меня в детской посудине, но сколько себя помню – ванну я не принимала ни разу. Да и видела ее только по телевизору и в рекламе дорогих отелей, которые, естественно, не имела ни малейшего риска посетить.

Я отправилась в ванную комнату. Это была маленькая каморка, метра два в ширину и столько же в длину. В ней действительно была ванна, небольшая и неглубокая, но для моей подопечной вполне приемлемая. Я наполнила ванну водой, налила и вспенила мыло, приготовила полотенце.

– Все готово, – объявила я старухе.

– Веди! – велела она.

Я подставила ей руку. Она тяжело оперлась на нее, наклонилась еще ниже, вздохнула и побрела.

В ванной я принялась раздевать ее. Впервые с момента нашего знакомства мне было разрешено дотронуться до ее тела. Раньше старуха позволяла лишь поддержать ее под руку, теперь же отдалась полностью в мое распоряжение.

Я усадила ее на заранее приготовленный стул и сняла с нее теплые тапки. Потом расстегнула длинную, явно не по размеру, рубашку. Под ней была надета легкая кофточка, которую я тоже с трудом стянула. Ее груди с широкими плоскими сосками тяжелыми мешками упали на живот. Женщина не двигалась, а я невольно рассматривала ее. Узкие плечи, дряблая, висящая складками кожа, покрытые шишковатыми, воспаленными венами ноги, выпуклый живот, посередине которого торчит большой пупок... Я опустила на колени и сняла с нее штаны. Старуха вяло поднимала то одну ногу, то другую. Я сняла с нее нижнее белье, обнаружив внутри небольшую тряпочку, пропитанную мочой. Женщина ничуть не смутилась:

– В молодости застудилась, с тех пор и подтекаю.

Несмотря на недержание, белье ее было достаточно чистым, хотя и застиранным до серости. Ее тело, старое и дряхлое, не вызвало у меня отвращения. У него не было неприятного запаха, прикосновение к нему не было отталкивающим.

Старуха предстала передо мной в своей наготе, и я не испытывала ни страха, ни брезгливости. Скорее любопытство.

Наконец она была готова к принятию ванны. Я бережно подняла ее и усадила на скамейку, которую заранее поставила на поручни. Она с удовольствием опустила ноги в теплую воду и сразу размякла. Пока я поливала ее спину, живот, груди; пока мылила голову и аккуратно смывала шампунь; пока сосредоточенно терла ее мочалкой – она тихонько урчала, как кошка. Наконец я выключила воду и стала обтирать ее мягким полотенцем. Она лениво подставляла то один бок, то другой. Смотрела на меня чуть насмешливо, как будто изучала. И вдруг сказала:

– Иногда мне кажется, что это не мое тело.

Я с удивлением взглянула на нее, но ничего не ответила.

– Мое тело – мягкое, чистое, нежное. А это – рваное и дрянное – не мое.

Я продолжала обтирать ее молча.

– Мое тело – оно красивое. Мое лицо – оно гладкое. Мои волосы – они густые. А все это – то, что ты видишь, – не мое.

Я закончила вытирать ее. Начала натягивать чистое белье и одежду и присела, чтобы было удобнее. Она послушно протягивала мне руки и ноги, что-то бормоча про свое тело. Я была занята застегиванием пуговиц на рубашке, как вдруг почувствовала, как она начала медленно оседать. Я подняла взгляд на лицо старухи: голова запрокинута назад, мягкие мокрые волосы свисают безвольно, глаза закрыты. Она потеряла сознание у меня на руках.

«Черт! – выругалась я. – Только этого мне не хватало!»

Она была тяжелой и мягкой. Я подхватила ее и в панике выволокла наружу из душевой ванной комнаты. С трудом дотащила до кровати, уложила на подушку, закинула безвольные ноги, укрыла одеялом и побежала за телефоном, чтобы вызвать «неотложку».

Спустя пятнадцать минут, после того как врачи ушли, сделав старухе укол, я сидела рядом с ее кроватью на стуле.

- Ну как? - спросила я осторожно.

- Получше вроде, - прохрипела она.

Рядом, на тумбочке, выстроилась колонна из таблеток, баночек и ампул. В руках я держала стакан с водой и периодически поила свою подопечную из ложки.

- Испугалась? - спросила она хитро.

- Очень, - ответила я честно.

- Спасибо. Ты мне, получается, жизнь спасла.

- Да не за что, - пожала я плечами.

- Ромке не рассказывай. Не надо ему знать.

- Но я не имею права...

- Я сказала: молчи! - каркнула старуха.

И я робко замолчала.

- Я немного посплю, а ты посиди тут.

- Угу.

Она стала дышать глубоко и медленно. Ее грудь вздымалась и опускалась в такт дыханию. Она негромко захрапела. Напряжение ушло, морщины расслабились, черты лица разгладились. Она была спокойна и умиротворена, и мне даже показалось, что это лицо действительно было когда-то красивым, гладким и нежным.

Глядя на нее, я задремала.

Не знаю, сколько времени я спала, но сквозь дрему слышала скрипучий голос, который тихо и медленно рассказывал...

* * *

...Хана мерила шагами свою новую гостиную. Выходило ровно двенадцать шагов в ширину и пятнадцать – в длину. Огромный дом с двумя окнами и удобствами на улице! О таком счастье и мечтать стыдно было, не то чтобы владеть.

Она тщательно изучила новый дом во всех подробностях – заглянула в каждую щелку, залатала каждую дырку, почистила каждый угол... И принялась обустраивать жилище согласно своему, лишь только ей одной известному закону, наполняя его своим духом, своим сердцем, своим смыслом.

Ей хотелось похвастаться своим домом. Показать новые занавески на окнах, новые ковры на полах, новые наволочки на подушках... Но хвастать было не перед кем. В этом городе, в этом краю у нее не было никого, с кем можно было перекинуться словом. Она привыкла жить среди людей – среди их ругани, их сплетен, их зависти. Привыкла, что каждое решение дается тяжело, после долгих споров, криков, убеждений, плача. Для нее было абсолютно естественно, что ее поступки открыты для всеобщего обозрения и подлежат всеобщему обсуждению. Здесь же впервые она обнаружила себя в полном одиночестве и столкнулась с миром, совершенно к ней равнодушным. Ее жизнь, ее чувства, ее мысли никого не интересовали. Ей не с кем было поделиться радостью и болью рождения младенца; некому было принести на пробу особо удачное варенье или особо мягкую сдобу. Все, что волновало ее, все, что мучило, все, что приносило радость, отныне приходилось хранить в себе. Одиночеством заплатила она за свою свободу.

Она выглянула в окно. Мужчины, одетые в традиционные мусульманские халаты и с тубетейками на головах, босыми ногами шагали по дороге мимо ее дома. С длинными бородами и желтой сморщенной кожей, они были похожи на злобных старцев или могущественных волшебников из сказок. Казалось, они потрясут своими седыми волосами, взмахнут разноцветными рукавами, топнут ногами, запутанными в полах халатов, – и вспыхнут молнии в небе, и подует ветер, и страшная сила обрушится на землю!

Внезапно течение ее мыслей прервал странный звук – долгий, резкий. Мужчины засеменили быстрее, побежали навстречу ему.

Хана вздрогнула.

– Это муэдзин, – сообщила соседки Крыстына, высунувшись из окна дома напротив.

Хана проследила за мужчинами взглядом и догадалась: они спешили на молитву.

Через короткое время Хана стала образцовой домоправительницей. Она умела приготовить все что угодно: от самого простого черного хлеба до изысканных деликатесов. Особенно ей удавались разные варенья и соленья, причем ни одна ягодка и ни один овощ не разваливались, не размякали, а оставались твердыми и упругими, точно свежие. Но настоящим коронным блюдом ее кухни были медовые пряники с курагой и грецкими орехами.

Густой мед льется тугой струей в приготовленную горкой муку, затем наступает черед яиц и воды. Добавляются толченые орехи и курага. Сладкая масса скатывается в колобки и ловким движением отправляется в русскую печь, пышущую жаром. Пряники получаются воздушными и мягкими, поэтому, когда дети, заглядывая в стоящую рядом кондитерскую, кланчили несколько копеек на булочку, она неизменно отвечала:

– Ты что, я испекла такую сдобу, что лучше ничего не бывает!

Местного языка она не знала – хотя, откровенно говоря, никто не знал его, потому что единого городского языка попросту не существовало. Наций было намешано видимо-невидимо – и казахи, и узбеки, и татары, и уйгуры, и корейцы, и дунгане, и русские... И вот попробуйте в этом месиве разобраться!

Единственным спасением было то, что каждый занимался своим национальным делом. Узбеки открывали харчевни, где готовили традиционную еду – плов, манты, лепешки. Дунгане кочевали, продавали свои товары – овощи, фрукты и специальные кушанья – с лотков, привозили их прямо домой. Украинцы и русские держали кузницы и жестяные мастерские, татары торговали дешевыми

украшениями, ленточками, пуговками и прочей кокетливой чепухой.

Иногда раздавался напевный крик: «Ашлямфуя, леменля фуя», «Миёт! Миёт!», «Карто-о-ошка, картошка! Лука-лука, реди-и-иска!» Это были дунгане, китайцы-мусульмане, кочевой народ, который в то время жил в Верном во множестве. У них был свой фирменный знак: они торговали восточными кушаньями, которые пользовались успехом у местных ребятишек и мастеровых. Одним из блюд была ашлямфуя. На легкой тачке с деревянным струганым столом с бортиками по бокам привозили они свое изделие. Стол раскладывался, опираясь на ножки, а покупатель усаживался на складной стульчик. Получалась передвижная столовая. В тарелку летела плоская холодная отварная лапша. Затем скребком набирался кисель, похожий на белый студень, еще какие-то приправы, заливалось все это уксусом. Кушанье было своеобразным, очень острым и имело успех у любителей крепких ощущений. Их можно было легко вычислить по открытому рту – так они ходили «для проветривания». Кроме того, дунгане продавали так называемый мед – совсем не похожее на настоящий мед небольшое пирожное, оно было редким лакомством для детей.

Хана много помогала беднякам, жалела их. Она не забыла те страшные времена, когда в родительском доме по несколько дней не водилось хлебной крошки, а от голода тошнило и болел живот. Поэтому и ставила в прихожей, в укромном месте, в маленьком шкафчике возле сундука, тяжелый каравай хлеба и крынку молока и будто бы случайно оставляла открытыми дверцы шкафа. Бедняки, зная о Ханиной задумке, приходили и отламывали по ломтю хлеба, выпивали кружку молока, но делали это тайно, так, чтобы не унизиться да не осрамиться. Хана не ждала благодарности, но по глазам нищих, по их движениям и жестам видела, что ее тактичная помощь не проходит даром, что хоть чуть-чуть, но облегчала она их тяжелую участь. Хотя по воспоминаниям о родительском доме иллюзий она не строила: знала, что чем сильнее человек нуждается и чем полезнее помощь, что ему оказывает ближний, тем больше он этого ближнего ненавидит. Поэтому, когда однажды, отправляясь на рынок, услышала в прихожей шебуршание пришедших подкормиться и их злобный шепоток, она ничуть не удивилась.

– Разожрались, паскудники! – говорила одна. – Ишо и хвалятся, мол, нам не жалко, пожрите и вы!

– Да будет тебе, Ципора, – ответила другая, – ломай каравай да пойдем отсюда.

– Нет, а я не понимаю, за шо это ей такая счастья свалилась? Ну за шо? Чем я хуже ейного? У меня муж всю жизнь отпахал на царя-батюшку. А как руку ему оторвало, так и все. И не нужен он больше. А мне шо делать? У нас детишек аж шесть штук, и все голодные! Ну вот скажи мне, Хайка, ну где божья справедливость? Почему одним все, а другим ничего?

– Ну уймись, старая, – отвечала ей Хайка, – охолопись. Пойдем.

– У-у-у, ненавижу! – погрозила Ципора кулаком в сторону комнат. – Была б моя воля, убила бы собственными руками!

Хана, конечно, ничуть не удивилась, но это совершенно не значит, что ей не было обидно и сердце не облилось горячей кровью. Она заплакала слезами отчаяния, но никому об этом случае не сказала, не озлилась. Только со следующего дня стала два каравая ставить.

Ханох это увлечение благотворительностью не одобрял, считал, что все нищие – воры и обманщики. Однажды он предложил побирушкам вымыть пол, за деньги, разумеется, но те отказались:

– Нэйн, дос кен их ништ![16 - Нет, этого я не могу (идиш).]

– Он а софэк[17 - Без сомнения (идиш).], – удовлетворенно сказал Ханох, поглаживая бороду.

Были и специальные, прикормленные нищие, которые приходили строго по часам, будто на службу. Одна – хиленькая старушка с дочкой-инвалидкой, которая постоянно судорожно трясла рыженькой плешивой головкой и закатывала голубые глазки. Это несчастное больное существо словно нарочно было рождено на свет в укор всем здоровым и сильным: мол, вот она я, поглядите на меня, убогую и обделенную! И мало было таких черствых сердец, которые не таяли бы при виде этой бессильной и страдающей девушки и ее старой матери. По этой парочке сверяли часы: они всегда приходили ровно к полудню, всегда одинаково одетые: потрепанные серые платья и серые же чепцы на головах; всегда одинаково голодные: ели жадно, торопясь, разбрызгивая молоко и раскрашивая хлеб; всегда одинаково благодарные:

- Золен дир ди энт динэн[18 - Да благословит Бог твои руки (идиш)].

Однажды они не пришли. Их ждали к полудню, они не появились. Их ждали к вечеру, они не появились. Когда же не пришли они и к началу субботы, тут уж местные жители совсем заволновались. А потом пронесся слух, что юродивых застрелили казаки.

Лица, голоса, улыбки и взгляды; белые здоровые и желтые испорченные зубы; скрюченные рабочие руки; рыжие, с проседью, черные, каштановые и русые волосы пестрели в глазах. Запахи сладкие и пряные, влажные, кислые и горячие смешивались в воздухе. Русских звали москалями, украинцев – хохлами, евреев – жидами, татар – моравинами, узбеков – сартами, уйгуров – таранчами. Даже улицы были названы Сартовская, Таранчинская, Моравинская.

Здесь сочетались великая степная красота и следы человеческой жизни, мелкие и ничтожные на фоне величавых гор. Здесь сосуществовали дыхание вечности и лошадиный навоз. Здесь жили древние народы: евреи, казахи, узбеки и малочисленные нации, исчезнувшие с лица земли. Здесь царственные горы – казалось, протяни руку и прикоснись к ним! – с интересом глядели на крикливые споры базарных торговцев. Здесь могучая многотысячелетняя история наблюдала за попытками людей создать свой новый общий мир...

Город был двухуровневым. Наверху, ближе к горам, свежему воздуху и сочной земле, селились люди состоятельные: портные, фотографы, купцы, врачи. Они строили добротные деревянные дома с просторными комнатами и голландскими печами. Они устраивали завтраки на балконах с дивным видом на горы. В этом квадрате «не допускалось неправильной и некрасивой застройки во избежание безобразия в кварталах». Здесь были лучшие здания города: дома военного губернатора и епископа Туркестанского, военного собрания, мужская и женская гимназии, собор, типография.

В нижней части жили все остальные: ремесленники, торговцы, кузнецы, пекари и хозяева харчевен. За пределами центра строились дома поскромнее, победнее, в которых жили чиновники, офицеры, купцы, промышленники. За ними, на окраинах, территории «третьего разряда», селилась беднота в лачугах и саманных домиках. Здесь всегда было жарко и пыльно, тесно и потно.

Улицы в верхней части были красивыми – прямыми, зелеными, ухоженными, с аллеями. Улицы внизу тоже были прямыми, но узкими, густо застроенными, с покосившимися домиками.

Ланцберги, конечно, поселились в нижней части города, рядом с Нижним базаром. Да, в городе было два рынка. На Верхнем покупали жены богатых купцов, зубных врачей и чиновников. Здесь были лучшие овощи, фрукты и выпечка – крестьяне из ближайших деревень привозили свои продукты прямо сюда. Свежее мясо, нежные наливные яблоки, пузатые помидоры, сладкие арбузы, теплое парное молоко... Со всех сторон базар был застроен мастерскими, фотоателье и парикмахерскими. Здесь же находились дамские магазины, работали модистки и шляпницы.

Внизу была настоящая барахолка: продавали поношенную одежду, обувь, кухонную утварь, вязаные шарфы и носки, лапти, валенки, веники... Люди приходили сюда, чтобы услышать последние новости, посплетничать, поскандалить, обменяться своими товарами. Вокруг бегали ребятишки. Тут же пасли скот и торговали необработанной свиной кожей. Рядом, прямо на земле, сидели попрошайки и нищие, убогие и прокаженные, а еще – бесчисленные гадалки со своими загадочными картами и разноцветными бобами.

Горы тоже были многослойными. Нижнюю часть их, начинавшуюся прямо из города, покрывали густые мохнатые сосновые леса переливчатого богатого цвета, от нежного желтовато-салатового до исчерна-зеленого. Средняя часть гор, словно колючий цветок, была усыпана отвесными острыми скалами, ершистыми, как иголки, серыми или серо-коричневыми. Но и здесь нет-нет, да и проскальзывала жизнь: с трудом, прогрызая суровую землю, вырастали чахлые березки и цветы – скромные одуванчики с незабудками. По склонам резво носились рогатые горные козлы и прыгали птички – перепелки и куропатки. Верхняя же часть гор была покрыта льдом. Даже летом суровый ледяной покров не терял белизны и неприступности. Правда, и ему изредка приходилось жертвовать толикой своего грозного облачения, когда весной, словно поддавшись всеобщему оживлению, нехотя, ворча и фыркая, начинал он таять, истекая прозрачной, чистейшей горной водой, отдавая свое богатство городу, наполняя его арыки зазорным журчанием, поля – сочным чмоканием, а жителей – радостным чувством.

Хана просыпалась ближе к утру, когда солнечный свет только начинает пробиваться сквозь белые ситцевые занавески. Бросала беглый взгляд на младенца, спящего в люльке, потом на мужа, похрапывавшего рядом. В комнате прохладно, и первым делом нужно затопить печь. А потом постирать белье, выйти к резнику за курицей, помыть, почистить, приготовить, заштопать все дырки на детских штанах, а их накопилось немало; придется еще поругаться с молочницей за прокисшее молоко, собрать сливы, которые давно уже сохнут на чердаке, прополоть сад... Да мало ли какие дела ожидают ее, какие непредвиденные расходы опустошат и без того не слишком толстый кошелек, какие неожиданные напасти обрушатся на плечи! И некому помочь. Никто не возьмет на руки расплакавшегося младенца, никто не соберет рассыпавшуюся золу из печи, никто не подаст мужу горячий обед, никто не пожалеет ее, не погладит, не прижмет к себе, не вытрет слез. Она одна, всегда одна! И не от кого ждать ни поддержки, ни похвалы.

Хотя нет. Есть одна радость в ее жизни, которой ждет она целую неделю. Это только ее время, когда она не тонет в одиночестве, но купается в удовольствии. Это – банный день. Каждый четверг, вечером, она оставляет хозяйство на мужа и отправляется в баню. Там стоит смешанный запах смолы и пота. Еще пахнет березовыми вениками, распаренным деревом, душистым мылом... Хана быстро раздевается, аккуратно складывает вещи в предбаннике и вступает в помывочную. Тут мыльная вода разлита повсюду, стоят ковшики и шайки. Женщины, красные, мокрые, с завязанными волосами, усердно натирают свои тела мочалками. Хана тоже берет небольшую бадью, наполняет ее горячей водой. От поверхности поднимается пар, он обжигает, но не сильно, а, скорее, приятно. Она кладет в воду кусок мыла, растирает его, пока вода не покрывается пузырьками. Потом начинает свой ритуал. Она любит эти процедуры, когда ее тело освобождается от одежд, от забот, от обязанностей, когда в своей наготе она не чувствует никакого стеснения, а наоборот, свободу и легкость.

Хана рассматривает свое тело. Оно уже не такое, как раньше, – живот мягкий, дряблый, в многочисленных складках и растяжках, руки и ноги покрыты вздутыми венами... Кое-где, особенно на голеньях, вены видно особенно четко. Синие ручейки растекаются по ее ногам. Руки маленькие, но сухие, жилистые, с короткими ногтями. Лицо ее давно покрылось мелкими морщинками, а в волосах появилась первая седина. Но она все еще сохранила стройность, и груди ее, конечно, не такие упругие, как в молодости, все еще нежны, и талия ее еще тонка, и бедра еще крепки.

Но долго себя рассматривать нельзя, неприлично. Она знает, чувствует, что на нее смотрят. Оборачивается – ну, конечно, Крыстына, тут как тут!

– Поди сюда, Ханка! – кричит она, и Хана покорно подходит. – Похлестай меня чуток.

Хана берет веник из березовых листьев, опускает его в мыльную воду. Крыстына лениво развалилась на лежаке. Хана тихонько, чтоб не больно было, начинает проводить веником по спине.

– Давай поднажми! – требует Крыстына. – Посильнее бей!

И Хана бьет сильнее. Крыстына подставляет свои дебелие бока. Стонет от удовольствия. Ее тело, большое, сочное, покрывается пятнами, но ей все мало.

– Поднажми, Ханка!

И Хана бьет еще сильнее. Крыстына смеется, березовые листья разлетаются дождем, кожа ее становится красной.

– Вот хорошо! Вот молодец!

Наконец Хана устает и опускает веник.

– Спасибо, соседка, – благодарит ее Крыстына. – Хочешь, и тебя побью?

– Нет, не надо.

Хана торопится скрыться от глаз соседки, и пока та отлеживается, постанывая, как тюлень, спешит в парную.

Здесь уже все готово. Стены и пол обиты деревом, от которого исходит острый запах смолы. Хана ложится на лавку, кожу обжигает жаром, но она не обращает на это внимания. Она прижимается к горячему дереву, впитывает его тепло и жмурится от удовольствия. Члены ее расслабляются, мышцы разжимаются, вся она размякает и тает. Мысли покидают ее голову, руки расслабляются, губы раскрываются, и она полностью отдается этому жаркому, обволакивающему

теплу. Она не слышит и не видит ничего, что происходит вокруг. Она не чувствует ни боли, ни жара. Она погружена в состояние умиротворения и спокойствия.

Но проходят десять минут. Пора возвращаться. Хана открывает глаза. Слышит вопли товарок, сочные шлепки по ягодицам, плеск воды в бадье, журчание мочи в сортире... Она нехотя поднимается. Обтирается полотенцем, надевает чулки, платье, фартук, натягивает парик и бредет домой.

Навстречу новой неделе.

Глава восьмая

– Бриллианты! Сапфиры! Изумруды! Ничто так не завораживает, как блеск этих камней! И ничто так не украшает женщину, как эти камни. Вы хотите стать женщиной мечты? Вы хотите, чтобы мужчины сходили по вам с ума? Вы хотите, чтобы они бросали к вашим ногам предложение руки и сердца? Тогда вам нужны бриллианты. И сегодня – сюрприз! – это потрясающее кольцо с сапфиром и бриллиантами со скидкой девяносто пять процентов! Да-да, вы не ослышались! Скидка девяносто пять процентов на это потрясающее кольцо с бриллиантами и сапфирами!

– Хочу! Хочу!

– Вы хотите выглядеть, как королева?

– Хочу! Хочу!

– Вы хотите, чтобы это кольцо было только у вас и королевы Великобритании?

– Хочу!

– Тогда заказывайте его немедленно!!! Скидка девяносто пять процентов – и кольцо ваше. Вы заплатите всего лишь пять процентов от стоимости, и это потрясающее кольцо будет вашим! Вы все еще думаете? Бросайте думать,

берите телефон и звоните нам!..

- Ага, щас, - сказала я телевизору. - Разбежалась.

Сегодня мне предстоял сложный день. Старуха заранее предупредила, что мы пойдем гулять. Не могу сказать, что от этой новости я пришла в восторг. Во-первых, я все еще немного побаивалась своей подопечной - просто не знала, чего от нее ожидать. Во-вторых, плохо представляла техническую сторону нашей прогулки. Как, например, спустить ее вниз по лестнице? Ведь лифта в доме нет. Как перевести ее через дорогу? Как, в конце концов, ее одеть, если она категорически отказывается даже в летнюю жару снимать свои теплые тапки? Все эти вопросы доносили меня, пока я шла на работу. Так, что затмили даже мечты о кольце с бриллиантами и сапфирами, которое было только у британской королевы.

К моему удивлению, подопечная встретила меня в дверях, полностью готовая к прогулке. Она была одета в легкое платье, под которым я даже заметила бюстгальтер, на ногах - туфли из мягкой кожи, разношенные, но крепкие, в руках - вполне приличная сумка красного цвета. Волосы убраны в пучок, на губах - в тон сумке - красная помада, во рту - красивые парадные зубы. Я давно обнаружила, что у старухи были две пары вставных челюстей: одни - на каждый день, ими было удобно жевать, и в них ее речь была четкой и разборчивой, а вторые - исключительно для красоты. Они давили и жали, говорить в них было практически невозможно. Нижняя губа при ношении парадных зубов западала внутрь, поэтому помаду приходилось наносить практически на подбородок. Большую часть времени зубы спокойно лежали в стаканчике со специальным раствором. Зато какие они были красивые! Ровные, белые, чистые - ну просто конфетка!

- Почему не готова? - строго спросила она, осмотрев меня с ног до головы. Одета я была как всегда - в старые джинсы и растянутую майку, на ногах - обычные кроссовки, волосы небрежно убраны в хвост. Сумки у меня отродясь не было, потому что телефон и те небольшие деньги, которые иногда водились, легко умещались в кармане.

- Не готова к чему? - спросила я.

- К прогулке. К выходу на улицу.

- А вы что, когда мусор выбрасываете, тоже губы красите? - попыталась огрызнуться я.

- Девочка, я мусор не выбрасываю. Для этого есть специальные люди.

- Интересно, кто?

- Ты, например. А в общество я выхожу исключительно с накрашенными губами.

От такого хамства у меня перехватило дыхание. Я уже собралась было ответить ей что-нибудь, но вовремя сдержалась.

- Пойдем, - она протянула мне морщинистую руку.

Я дала ей возможность опереться на себя.

- А как вы себе представляете мы будем спускаться по лестнице?

- Как все. Ногами.

- Очень смешно.

Старуха еле передвигала своими распухшими тяжелыми ногами с выпирающими венами. А нам предстоял тяжелый путь: пятнадцать ступенек до нижнего пролета, потом - переход через небольшой внутренний садик, дальше - еще пятнадцать ступенек до спуска на улицу. Я с ужасом представила это путешествие.

- Ну, пошли, - подтолкнула меня она. - Я уже и не помню, когда в последний раз выходила из дома.

Она крепко схватила меня за руку цепкой, как сморщенная куриная лапка, ладонью. Тяжело ступая, то и дело останавливаясь, чтобы отдохнуть, и задыхаясь от стука собственного сердца. Минут через пятнадцать моя

подопечная наконец одолела сложный спуск. После этого еще несколько минут мы посидели на скамейке, а затем отправились в ближайший сквер, который находился прямо через дорогу.

Парк, в который мы направлялись, был небольшим, но ухоженным и чистым. Здесь росли старые, возраста моей подопечной, фикусы и эвкалипты, мощные корни которых выпирали из земли, а широкие кроны создавали приятную тень и прохладу. Пели птицы на кустах дикого винограда, где уже появились первые ягоды. На клумбах росли красные розы, ровные ряды мелких петуний обрамляли парк по периметру. Тяжело дыша, мы уселись на скамейку. Говорить не хотелось, после долгого пути единственным желанием было просто отдохнуть. Я с ужасом представляла себе, какой будет дорога обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Баухиния – цветущее дерево семейства цезальпиниевых.

2

Ешива – религиозная школа для мальчиков.

3

Рекрутская (искаж.).

4

Кто это? (иврит)

5

Разводное письмо.

6

Несчастный и печальный (идиш).

7

Он живет от мужика (идиш).

8

Не про нас будет сказано (идиш).

9

Птичка (идиш).

10

Врагам моим желаю такое счастье! (идиш)

11

Храни тебя Господь! (идиш)

12

Последний ребенок в семье (идиш).

13

Моча (идиш).

14

Собрание из десяти мужчин для проведения религиозной церемонии.

15

Служка.

16

Нет, этого я не могу (идиш).

17

Без сомнения (идиш).

18

Да благословит Бог твои руки (идиш).

Купить: https://telnovel.me/gel-fand_mayya/i-gory-smotryat-sverhu

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)